

Урен Адлер

СОБСТВЕННОСТЬ
БОГА

16+

Ирен Адлер
Собственность бога

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Адлер И.

Собственность бога / И. Адлер — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Единственная игра, в которую стоит играть, если носишь корону, это игра в бога. Так полагает её высочество принцесса Клотильда, сестра короля Людовика XIII. Изнывая от скуки, она увлекается красивым студентом из Латинского квартала, искренне полагая, что бедность, в которой прибывает её избранник, делает его удачным персонажем для затеянной игры. Психологическая драма. В книге затрагивается извечная проблема выбора: кому служить – Богу или маммоне. Для читателей, любящих историю, увлекающихся западноевропейской литературой и искусством. Дизайнер оформления обложки С. А. Пеников издательство ИТРК.

© Адлер И., 2019

© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	13
Глава 4	18
Глава 5	20
Глава 6	23
Глава 7	25
Глава 8	30
Глава 9	33
Глава 10	37
Глава 11	39
Глава 12	44
Глава 13	46
Глава 14	52
Глава 15	56
Глава 16	64
Глава 17	67
Глава 18	69
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Когда Ты Предстанешь Перед Лицом Сильного Мира Сего, Помни, Что Другой Смотрит Сверху На То, Что Происходит, И Что Ты Должен Угождать Ему Скорее, Чем Этому Человеку.

Эпиктет

Сын Мой! Наставления Моего Не Забывай, И Заповеди Мои Да Хранит Сердце Твое...
Притчи 3:1

Часть первая

Ее кровь давно утратила цвет. Она струилась по жилам, как вода по стеклянным трубкам, почти прозрачная, оставляя кончики пальцев холодными и сухими. Ее сердце обратилось в упругую мышцу, сохранившую единственно доступный ей ритм. Не замедляясь и не ускоряясь. Днем и ночью. Без радости и печали. Без волнений и страха. Она хотела бы испугаться или прийти в ярость, хотела бы зарыдать или зыгнуться в крике. Но не могла. Ее чувства пришли в упадок, как приходит в упадок некогда заброшенный сад. Иногда ей даже казалось, что она умерла. Вот такая странная, незаметная для глаз смерть. Почти благословенная, без тлена и смрада. Душа свернулась, подобно зародышу в ледяной скорлупке, и заснула. За ненадобностью.

Глава 1

Я вижу ее глаза. В них страх. Сначала недоумение, досада, затем догадка. И страх. Он разгорается, бледностью ползет по лицу. Она и так бледна, кожа цвета алебастра, но под ней переливается кровь, а страх эту кровь изгоняет, тогда белизна становится мертвенной с трупной серостью. Она боится. Как же она боится! Где же оно, то величавое презрение, с каким она взирала несколько часов назад? Его больше нет. Только страх. Ее зрачки расширяются, веки, всегда полуопущенные от того же презрения, от врожденной брезгливости, ползут вверх, чтобы страх, еще скрытый, взвился там, под ними, вспыхнул бы красным всполохом, брызнул пятнами. Она хочет кричать. Губы ее размыкаются, движется горло. Но страх, верный мой союзник, забивает ей горло кляпом. Ей не вздохнуть. Только горло все движется. Ее горло, той же алебастровой белизны, лилейной нежности, с трепетной голубой жилкой, горло, которого я, совращенный, несколько часов назад касался губами. Это горло притягивает меня, зовет. Там средоточие ее жизни, в этом хрупком движущемся узле под бледным покровом. Если этот бугорок сдавить, переломить влажный хрящик, она умрет... Я услышу, как лопнет эта мягкая кость, как дыхание змеиным шипением будет продираться сквозь закусенные губы, как хрипом и бульканьем отзовется сломанный хрящ. Хочу слышать этот предсмертный крик, хочу ощутить ладонями скользкую от пота высокомерную шею. И убить. Хочу убить. От желания мысли плавают, сливаются в одну. Я весь – эта мысль, весь – порыв, уже не человек, еще не мертв, но и живым не назвать. Сгусток, ядро из плоти и слез. Без души, без сердца. Все осталось там, наверху, среди окровавленных простынь, рядом с почерневшим младенцем и бездыханной матерью. Там остался я, прежний, девятнадцатилетний, с надеждами и мечтами, с юностью и любовью, а здесь, во дворе, я – сама смерть.

Успеваю приблизиться и коснуться. Ибо время замедлилось. Страх, мой союзник, связал и растянул минуты. Их время, время моих врагов, стало вязким, густым и липким. Страх, играя на моей стороне, крепит их подошвы к мостовой, сковывает их руки. Они меня не узнали, не разгадали. Я их опережаю. Ее горло... Она неподвижна, не пытается защититься. Ибо все тот же страх застывает параличом в ее локтях и коленях. В моих пальцах неведомая палаческая тяжесть. Мои пальцы – орудие, петля со скользящим узлом. Как уязвима эта высокомерная шея! Мои пальцы уже давят, крушат. Я чувствую, как плоть поддается, уступает и хрящ уже пружинит, противясь и надламываясь. Ее глаза совсем близко. Теперь мы на равных. Я стащил ее вниз с ее пьедестала, в презренную телесную уязвимость. Я вернул ее в смертность. Но в ее глазах равные доли недоумения и страха. Она не верит, она все еще не верит. Хрипит, задыхается и не верит. Что я... что такой, как я... Слепящий удар, боль. И снова удар. Теперь уже мое время замедляется и ползет, разбухает от крови. Их время, их мгновения теперь – как пущенная стрела. Меня хватают, наваливаются. Вместо ее глаз чей-то пыльный сапог с квадратным носком и ребрышком стали. Взлетает, опускается. Я уже не сгусток ярости, обращенный в клинок, я – сгусток боли.

Но это не долго. Я своей цели не достиг, но они, ее стражи, достигнут своей. Еще несколько ударов, и на мой затылок опустится рукоять хлыста, затем, после белых костяных брызг, наступит беспамятство. И смерть. Умирать не страшно. Я давно мертв. Я умер в тот миг, как ступил на брусчатку, сбежав по скрипучей лестнице. Там наверху остались мои жена и сын. Моя жена истекла кровью, мой сын задохнулся в утробе. Повитуха тащила его синее тельце железными щипцами из материнского лона, которое само уже обратилось в кровавые лохмотья. Я ждал чуда – сиплого, булькающего младенческого писка, но мой сын висел в этих щипцах, как освеженный кролик. Моя жена, тоненькая, обескровленная, еще дышала, но милосердный обморок закрыл ей глаза. Она не узнала о смерти сына. Она помнила только меня, только мой грех. Она умерла с этим знанием, отвергнув мое раскаяние. И мне, чтобы

вымолить прощение, предстоит отправиться вслед за ней, по лунным пятнам на мертвой воде. Те, кто сейчас наносит мне удары, кто слепит меня болью, лишь приближают этот благословенный миг, смывая солоноватый привкус греха. То, что я не достиг своей цели, не стал убийцей, облегчит мне путь. Я умираю без отпущения, без покаяния, почти проклятым... Но мне все равно. Скоро все кончится.

Сейчас... сейчас кто-то из них нанесет последний удар, набросит веревку или оглушит так, что брызнет черная кровь под стальным прутком. Защищаться я не пытаюсь, только закрываю лицо. Тело само, без участия разума, сжимается, корчится. Скорей бы... Внезапно они отступают. Я слышу голоса, тяжелые хрипы вспугнутой своры. Они, будто отозванные егерем собаки, щелкают зубами. Среди рыканья и хрипа я различаю голос моего приемного отца, епископа Бовэзского. Тихий, слабый старческий голос. Глаза мои закрыты. Я его не вижу, но слышу торопливые семенящие шажки, шелест потертой сутаны. Он мечется среди этой стаи. – Пошадите его, пошадите! Он не в себе. Его жена умерла в родах. Ребенок мертв... Он обезумел от горя.

Я не безумен, отец. Мой ум пугающе ясен. Я слышу, как шелестит, осыпаясь, песок с чьих-то сапог, как переступает запряженная лошадь, как нетерпеливо поигрывает лакей своей тростью и как она, знатная дама, носительница власти, что-то гневно, презрительно шепчет. И тут же мои руки отрывают от лица, меня вздергивают и ставят на ноги. Боль в ребрах, в затылке застрял раскаленный коготь. С глазами что-то случилось. Пятнистая круговерть, вытянутые искаженные лица. Большое фиолетовое пятно – это отец Мартин, епископ Бовэзский, мой приемный отец. Он похож на старого взъерошенного воробья, который топорщит крылья и подсакивает на мостовой перед крадущейся кошкой.

Своим жалким чириканьем этот воробей пытается отвлечь степенно ступающего зверя от птенца-подлетьши, неосторожно покинувшего гнездо. Кошка только досадливо дергает ухом, не сводя глаз с добычи. Что ей это жалкое отцовское чириканье, эти седые растопыренные крылышки, этот клювик и крохотные лапки?

Не надо, отец, не надо, не просите ее! Я пытаюсь разлепить разбитые, уже распухшие губы, склеенные кровью. Она что-то отвечает, тоже едва шевелит губами. Ее шея уже не слепит лилейной белизной. Эта шея помята, подпорчена, в багровых пятнах, быстро набирающих цвет. Моя рука. Как же я не успел? Хрящ уже поддавался, уже проваливался в глубину гортани. Я только жалкий любитель в искусстве убивать. Я не смог превозмочь себя и повредить тому, что создано Господом. Даже в угаре мести я чувствовал под рукой самую неприкосновенность жизни, ее уязвимость и конечность. Одно дело – вообразить, обращаясь всем существом в карающий меч, и совсем другое – трогать этим мечом трепещущую жилку под кожей, ниточку, идущую от самого сердца.

Но ее высочество герцогиня Ангулемская, сестра и дочь короля, носительница власти, колебаться не станет. Она уже овладела собой и слушает просителя со скучающим презрением. Отец Мартин все еще лепечет, голова трясется. Он уже совсем старенький. Ему трудно ходить, по ночам ноют суставы. Мое сердце сжимается. Господи, что же я наделал? Я подвел его. Как же я его подвел! Старик хватает ее за скользкий расшитый рукав. А она поворачивается спиной. Но прежде через плечо бросает в мою сторону взгляд, ведет им медленно, будто тянет по мне наточенный гребень. Делает неопределенный знак. Я закрываю глаза. Сейчас те, кто выворачивает мне локти, исполнят приказ. Удушье, тошнота... Скорей бы. Не сопротивляться... Не сопротивляться. Бедный старик, это произойдет у него на глазах. Но удара нет. Меня снова волокут, как мешок, как ободранную тушу, коленями, ступнями по камням и торчат к седлу. Мне придется бежать за лошадь. Если споткнусь, задохнусь, мои ноги будут волочиться по мостовой.

Отец Мартин все еще умоляет. Его потертая сутана взлетает, как побитые, израненные воробьиные крылья.

– Пощадите, пощадите его! Милосердие – это благодать от Господа. Господь милосерд. Он прощает грешников, тех, кто по неразумию, по слепоте своей... Иисус на кресте воззвал к Отцу своему небесному. Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. Иисус, Спаситель, пострадавший за нас, умерший за нас, принявший крестную муку, искупивший кровью грехи наши, и нас благословил прощать.

Уже ступив на подножку, она в последний раз обращает к нему свое белое лицо. Губы ее двигаются, слов я не слышу, но догадываюсь.

– Я не Иисус, святой отец. И на третий день не воскресну. Ее лакей, верзила в синей ливрее с серебром, толкает старика. Тяжелый экипаж, запряженный четверкой, вздрагивает. Кучер, такой же рослый, как и лакей, подбирает поводья. Но старик не сдается. Он порхает, кособоко подпрыгивая, будто в него бросили камнем. Пытается влезть на подножку, заглянуть в экипаж, вновь умоляет, затем, припадая на одну ногу, бежит к кучеру, цепляется слабыми, сухими руками за звенящую сбрую. Кучер трогает лошадей, огромных, холеных, с длинными, страшными, темными мордами. Я хочу крикнуть, но горло перехватывает. Моя лошадь уже тянет меня, выворачивает руки.

Отец, пожалуйста, нет! Нет! Старый воробей уже выбился из сил. Он не может взлететь, слабо перебирает лапками, подпрыгивает, распустив перья, которые уже в пыли и комочках запекшейся крови. Воробью не увернуться. Старик хватает удила гнедого коренника, который вздергивает голову, ибо утомлен долгим ожиданием. Лошади тащат старика за собой, кучер нахлестывает. Вокруг лица... Я вижу их смазанными, вытянутыми... Гул голосов. Выкрики. И другой звук, свистящий, слышимый только мне, уже знакомый, продирающий холодом, свист взметнувшегося лезвия, рассекающего воздух, чтобы оборвать, пресечь чью-то жизнь. Сейчас это лезвие обрушится. Я пытаюсь упереться ногами в мостовую, вывернуться. Рывок за связанные руки, от которого темнеет в глазах. Но я вижу... Вижу, как старик, не удержавшись, падает.

Первая лошадь в упряжке успевает переступить, но идущая за ней пугается, совершает прыжок. Дышло цепляет старика, как подсеченную рыбу. Он каким-то судорожным усилием успевает перевернуться, подтянуть ноги к животу, затем, пока лошади тащат его, как тряпичный узел, снова распрямляется и тогда уже попадает под колесо, огромное, золоченое, с железной начинкой. Это колесо накатывает, крушит... А тут поспевают и второе колесо. Экипаж подпрыгивает, обрушиваясь всей тяжестью на жалкий комочек перьев... Я гложу от крика, от своего крика. Я вою, как застрявший в капкане зверь, зубами я тянусь к узлам, к веревке... Я пытаюсь куснуть, сбить на сторону того, кто в седле, и тот сверху бьет рукояткой хлыста по затылку, выбивая глаза, погружая их в кровавую муть. Мой крик встает в горле поперечной костью, я падаю, висну на веревках и волокусь коленями по бульжникам. Экипаж с грохотом выкатывается со двора епископского дома, который был и моим домом, моим единственным домом. Где-то за моей спиной изломанная фиолетовая фигурка... Я снова кричу, но крик, как залитый в глотку свинец, кипит и обжигает. Я захлебываюсь этим пылающим месивом из слез и боли, пытаюсь выдохнуть его по кускам, но лошадь волочит меня дальше...

Почему они медлят? Почему не избавят от огненного удушья? Пот заливает глаза, каждый шаг отдается болью, всплывающей пузырьком костей и внутренностей, но я еще не окончательно слеп. Смутные очертания домов, колоколен... Гревская площадь. Сколько смертей видели ее камни! Почему бы и мне не умереть здесь? Но нет, я недостойн. Эти камни, доски эшафота, зарубки на плахе знают лишь благородную кровь. А я безродный, нищий студент из Латинского квартала, младенцем подброшенный в монастырский приют. Моя кровь осквернит эти камни. Благородных господ доставляют сюда на тележке, с песнопениями, с факельным шествием. Их сопровождает свита из подручных палача. На них с балкона Ратуши взирает король. Их не волокут, как заарканенного зверя. Тогда Сена. Ей все равно, кого хоронить, она прожорлива, как могильный червь, пожирающий плоть и нищего, и принца. Почему бы ее

лакеям меня не столкнут? Руки у меня связаны, ноги сбиты, от побоев в голове что-то колыхается, стучит в височную кость. Я быстро пойду ко дну.

Висок рассечен. Кажется, уличный шутник бросил в меня камнем. На меня глазают. Я вижу, как двигаются подбородки, раскрываются черные рты. Летят не то смешки, не то проклятия. Толпа рада позубоскалить. Это те люди, среди которых я жил, чьи прошения писал, чьи раны врачевал в лечебнице Св. Женевьевы и Святого Людовика. Как быстро они сбиваются в стаи против подраненного собрата. Прости им, Господи, прости... и меня прости. Мне отказано в последнем утешении. Но я прошу Тебя о милости, прими мою душу. Пошли мне смерть.

Я успеваю оглянуться на остров Сите и на колокольни Собора. Смилуйся, Пресвятая Дева, замолви слово за несчастного, за того, кто отчаялся, чья душа источена скорбью. Дай мне силы... Дай мне силы! Почему они медлят? Куда волокут? На виселицу? На костер? Я и сам задохнусь. Легкие горят, губы, гортань пузыряются от жажды. Шаг, второй... Только бы не упасть.

Лошадь наконец останавливается. Обморочная темнота. Нет, я не упаду, не свалюсь от слабости. Я хочу видеть лица тех, кто убьет меня. И ее лицо хочу видеть. Пусть будет отвращение, смешанное со страхом. Пусть кривится и трогает свое помятое горло. Но все же падаю от изнеможения на колени. И снова готов взмолиться. Вот сейчас, сейчас... Я ничего не чувствую, я почти мертв. Сердце, раздутое, только что не лезет из горла, глухо бухает в ребра. Меня вздергивают и снова тащат. Но недалеко. Я смотрю вниз, вижу только плотно подогнанные, истертые колесами камни. Голова слишком тяжелая, с налитым кровью затылком. Так болтается оторванный, лишний кусок. Утыкаюсь в ступени. Мраморные, холодные. Лечь бы на них, прильнуть кровоточащим виском.

Могильный холод, должно быть, сладок. Какое неслыханное наслаждение было бы забраться в свежерытую могилу, лечь на прохладную, пахнущую корнями землю и укрыться ею как покрывалом от сверлящих взглядов. Земля забьет уши, и я перестану наконец слышать это влажный хруст раздробленных костей, этот глухой стук подскочившего экипажа. И видеть перестану... И помнить...

Кто-то грубо заставляет поднять голову. Хватает за волосы, там, где кожа, отбитая рукояткой, плавает поверх кровавой лужи. От боли снова темно, и глаза заливают пот. Солнце... Оно все-таки взошло. Я так долго ждал рассвета, был уверен, что как только солнце взойдет, оно все исправит, рыхлая муть распадется... Рассвет без солнца. Разве так бывает? Нет, вот оно, стыдливо прячется за крышами. Небо перечеркнуто кривой линией шпилей и каминных труб. Знакомое место. Я здесь, кажется, был когда-то, до своей нынешней смерти. Смотреть наверх больно. Я опускаю глаза. Прямо передо мной – она. Тяжело дышит и трогает горло. Ей все еще страшно. Она смотрит на меня, как на полураздавленного шершня, который осмелился укусить. Она боится. Я все еще опасен. Но сам я ничего не чувствую. Внутри пустота. Ибо когда лошадь остановилась, а я упал, пришло осознание. Их нет... Их никого больше нет. Они умерли. Моя жена, мой сын, мой отец. Они все остались лежать там, под грудой окровавленных перьев. А я, полуживой остаток, уже выпотрошенный, но по странному недоразумению еще сознающий, истекаю кровью. На щеках влага. Слезы? Или кровь из рассеченного виска? Если бы я мог плакать... Но я не могу. Эти слезы – мольба тела. Оно страдает. А я сам снова смотрю вверх, туда, где над темным изломом крыш, над дворцовым портиком виден край позолоченного облака. Это облако висит где-то в продуваемом просторе, беззаботное, безгрешное. Вот если бы стать таким же невесомым и бестелесным... а слезы пролить дождем.

Глава 2

Пожалуй, это и решило его судьбу. Нет, это была не жалость, не корча великодушия. Скорее мстительное любопытство. И жажда. Она хотела узнать вкус этих слез. Ощутить на языке их прозрачную горечь. Если она сейчас отдаст роковой приказ, то эта жажда останется неутоленной, пребудет до конца ее дней. Не поможет даже осознанное, жаркое торжество мести. Торжество увянет, как сорванный цветок, а жажда останется. Нет, она не может его убить. Это будет неразумным, непростительным расточительством.

* * *

Вновь ее глаза, серые, под ровной линией век. Она смотрит с любопытством, в глазах уже не страх, а какой-то дознавательский интерес. Она меня изучает. И хочет подойти ближе, чтобы рассмотреть. Может быть, потрогать носком туфли, как жука, а потом раздавить. У меня легкая дурнота от жары и жажды, голоса становятся гулкими, обзаваются многократным эхом. Скорей бы все кончилось... Да что же вы! Делайте свое дело. Добейте меня!

Герцогиня наконец что-то говорит. Негромко и сипло. Рядом с ней шевелится какая-то тень, по очертаниям женщина, ее лицо мне кажется знакомым. Тень эта проявляет беспокойство. Герцогиня повторяет приказ. – Отведите его вниз. Потом уходит. Но напоследок говорит что-то еще. – Воды... Меня вновь волокут. Мои израненные ноги цепляются, ударяются, спотыкаются о ступени, пороги, углы. Но я не чувствую боли. Я сосредоточен на том, чтобы вдохнуть, залить пылающие легкие глотком воздуха, который будто выгорел на солнце, но вместо него я глотаю расплавленную пыльную жижу. Потом внезапно становится прохладно и темно, пахнет сыростью, как я того и желал. Вот и свежевырытая могила. Сейчас меня придавят гробовой доской, а сверху застучат комья. Может быть, я уже умер? В полубреду не заметил лезвия, скользнувшего по горлу, а тут во тьме только душа? Ее так неожиданно вырвали из тела, что она, обезумевшая, не замечает различий? Но сильный толчок в спину напоминает, что тело у меня все еще есть и в этом теле есть ребра и колени, на которые я падаю. Где-то наверху, за спиной, снова грохот и скрип, ржавый, металлический. Темно. Я валюсь на бок, щекой к каменной плите. Она прохладная, как те мраморные ступени. Скорчившись, замираю.

Уже недолго. Скоро все кончится. Палач исполнит свой долг. Очень тихо. Только разбухшее сердце в груди. Я прислушиваюсь, ожидаю того же скрипучего воя, когда откатывается засов. Но никого нет. Разгоряченное тело быстро остывает. Мне уже холодно. Решаюсь разлепить веки. Нет, это еще не могила. Каменный мешок. Окон нет, но откуда-то сверху сочится свет, тусклый, многократно разбавленный. Глаза привыкают. Да, это тюрьма. Даже охапка соломы в углу. Я перебираюсь в этот теплый угол почти ползком, все больше уподобляясь насекомому с оторванным крыльями и перебитыми лапками. Это насекомое, которое прежде умело летать, озорные мальчишки, не ведающие о сострадании, упоенные своей властью над беспомощным существом, после долгих истязаний заперли в темной колбе, где этому насекомому остается ползать на брюхе вдоль скользких влажных стен, призывая смерть.

Солома чистая и сухая. Похоже, я здесь первый узник. И буду занимать это жилище недолго. Минуты тянутся, складываются в часы, может быть, в годы. Я не знаю. Здесь нет времени. Нет света. Солнца здесь не бывает.

Гремит засов. Отвратительный воющий стон железа. Сердце обрывается и катится в бездонный желоб. Как бы я ни храбрился, мне страшно. Это страх плоти. Она боится боли, боится небытия. Плоть готова протестовать, драться за жизнь, извиваться, как червь, которого перебили лопатой. Я инстинктивно прижимаюсь к стене, как будто камень, в отличие от людей, способен проявить милосердие. Смерть приходит через посредника. Его прикосновение, его

бесцеремонная опытность меня страшит. Но это не палач, это тюремщик, седой, одышливый старик. Он приносит мне кувшин с водой и кусок хлеба. Ставит неподалеку от соломенного прибежища. И тут же уходит. В мою сторону ни слова, ни взгляда. Для него я уже мертвец. Я даже не насекомое, я – тень.

После его ухода, дожидаясь, пока утихнет пришпоренное, взмыленное сердце, я смотрю на угощение. Не понимаю. Зачем? Если казнь вот-вот состоится, если вина доказана и приговор вынесен, зачем поддерживать в осужденном жизнь? И мне умирать будет легче, если впаду в беспамятство, если лишусь рассудка от голода и жажды. Жажда... Горло, как пергамент, шуршит и трескается, язык колючий и шершавый. Терпеть невозможно. Да, да, я слаб! Простите меня, отец. Моя грешная плоть, она сильнее моей тоски, сильнее моей скорби. Я хватаю кувшин и жадно пью. К хлебу не прикасаюсь, не могу. Даже мысль о еде все разрывает внутри.

Вновь ожидание. Минуты, часы. Почему они медлят? Может быть, ей кажется, что лишить меня жизни так скоро равносильно помилованию? Что один удар палача не искупит моей вины? Искупление будет длительным, ибо оскорбление, что я нанес, тяжести неизмеримой. Я оскорбил и унизил особу королевской крови. Я пытался ее убить. Я схватил ее за горло на глазах у многочисленных свидетелей, на глазах ее приближенных. Она сможет пережить свой страх, но она не простит мне унижения и того, что это унижение видели ее подданные. Видели ее сведенный рот и скрюченные пальцы. Видели ее страх. Она будет мстить. Долго, расчетливо. За каждое мгновение нахлынувшего позора, за миг потного страха она расплатится со мной часами страданий, она удвоит и утроит проценты. Может быть, сделает мой долг неоплатным.

А если... Нет, нет, не может быть! Только не это. Я даже беспокойно ворочаюсь на соломе. Что, если ее намерение, ее каприз все еще в силе? Но это нелепо. После всего, что было, после покушения и скандала, после смерти епископа... Нет, этого не может быть. Не может быть! Я трясусь головой, отгоняя догадку. Это... это безумие!

Глава 3

Она увидела их вместе, секретаря епископа и его жену, изгнанную дочь ювелира, в день св. Иосифа. Герцогиня заметила их не сразу. В церкви было полно народу. Со всей округи, даже с правого берега, родители явились на праздничную мессу, чтобы отец Мартин помолился за их детей. Эти люди искренне верили, что несколько слов, произнесенных на латыни стариком в фиолетовой сутане, в самом деле уберегут их отпрысков от дьявольских козней, наполнят желудки едой, охранят зубы от червоточины, а кошельки утяжелят медью. Блажен, кто верует. Но слеп, кто пребывает в грезах.

Он тоже немного мечтатель, тоже верит в небесных покровителей или достаточно умен, чтобы не искушать судьбу дерзостью. Епископ его покровитель, и было бы по меньшей мере неосторожно усомниться в действительности ритуала. А его жена и вовсе свято верует в универсальность и всемогущество латинских формул. Его жена...

Наконец-то герцогиня видела ее. С тех пор как Анастаси, ее придворная дама, удостоверяла наличие этой дамы среди занятых в пьесе персонажей, Клотильда не раз ловила себя на том, что пытается вообразить эту женщину. Нарисовать ее образ. Это происходило помимо ее воли, так, как это обычно бывает с неприятным воспоминанием. Его гонишь, стираешь, развлекаешь вином, но оно проступает, как неистребимая плесень. Герцогиня ловила себя на воображаемом диспуте. Когда ее внимание отклонялось в сторону, она немедленно начинала этот странный спор, предметом которого состояла неведомая ей женщина. Она не могла вообразить ее красивой, допустить эту крамолу, и тут же возражала. Женщина, на которой он женат, не может быть дурна. Она должна быть красива. Но тогда она глупа, непременно глупа. И снова ответ. Он не мог полюбить глупышку, ибо он сам слишком умен. Он не мог быть очарован только внешностью. Умный мужчина не избирает себе в подруги глупую женщину, если выбор совершается добровольно. Глупых выбирают те, кто слаб духом или сам обделен разумом. Но Геро не принадлежит ни к тем, ни к другим. Ergo¹, его жена должна обладать множеством достоинств помимо привлекательной внешности. Ибо эти достоинства искупают отсутствие приданого. И вновь бесконечная игра с собственным самолюбием, упорно отрицающим чью-либо ценность. Она не желала признаваться в том, что обеспокоена, что сама мысль о сопернице ее пугает. Тревога, конечно, размеров смехотворных, с горчичное зернышко, но даже зернышка, закатившегося в башмак, достаточно для болезненных хлопот. Не то чтобы она боялась истинного соперничества, нет. Его жена была всего лишь дочерью торговца, неотесанной простолюдинкой, но ее существование порождало тревогу.

Заметив их в церкви среди расходившейся толпы, Клотильда испытала внезапное облегчение. Тревога разом исчезла. Ей стало легче дышать. Какую же силу имеет человеческое воображение! Какая власть дана ему над разумом и телом! За эти несколько дней она позволила своему воображению разыграться. Приписала своей сопернице неведомые достоинства, грозные преимущества, колдовские чары и внешность Цирцеи². Поистине, человеческие страхи – это увеличительное стекло, что обращает крохотного муравья в многорукого гекатонхейра³.

Ее соперница была внешности самой заурядной. Очень молода, бледна, худая, к тому же беременна. Самым примечательным на ее невнятном лице были, пожалуй, глаза, очень ясные, с длинными ресницами. Цвет – подкрашенный синевой лед. Но посадка и разрез выполнены

¹ Следовательно (лат.)

² Цирцея (Кирка) – это имя стало нарицательным для обозначения чарующе привлекательной и коварной женщины еще со времен античности.

³ Гекатонхейры (Сторукие лат. Центиманы) – в древнегреческой мифологии – сторукие и пятидесятиголовые великаны, олицетворение стихий, по Гесиоду – сыновья верховного бога Урана и Геи: Бриарей (Эгеон), Котт и Гиес.

удачно. Будто в работу одаренного, но неопытного ремесленника вмешался мастер. Вероккьо или Санти. Все прочие обязательные атрибуты – нос, рот, подбородок – внимания не заслуживали. Все слабое, полустертое. Кожа бледная, нездоровая, с коричневыми пятнами. Это было одно из тех заурядных женских лиц, которые хороши только на заре юности, привлекательны своей незамутненной свежестью и первозданным румянцем. Любой цветок, даже сорняк, незатейливо хорош на рассвете. Лепестки влажны и упруги, от них исходит аромат райского сада, еще не оскверненного грехом. Но к полудню, когда солнце их подсушит, лепестки размягчаются и блекнут. Миг их торжества краток.

Этой молодой женщине не было и двадцати, но она уже достигла своего полдня. Пройдет совсем немного времени, и кожа ее окончательно потеряет упругость, обвиснет на скулах, иссохнет. Ее рот, еще молодой и свежий, еще способный дарить поцелуи, очень скоро обратится в скорбную прорезь, исторгающую лишь стоны и плач; волосы, темно-русые, густые, заключенные под неумолимый чепец, поредеют, а ее грудь обратится в два бесформенных мешочка с заскорузлыми болезненными сосками. Дети выпьют эту грудь до дна. Беременность обезобразит тело, покроет его складками и рубцами. Эта юная женщина уже встала на путь саморазрушения. У нее уже есть ребенок, косолапая девочка, которая цеплялась за подол ее юбки. Возраст девочки перевалил за первый год жизни, она уже умела ходить, но была еще по сути младенцем. А мать уже носила второго. Живот ее был раздут, как пузырь. По сравнению с этим огромным, безобразным наростом сама женщина казалась невесомой, почти прозрачной. Ребенок в утробе разрушал ее молодость.

Клотильду охватило чувство презрительной жалости. К тому же она была разочарована. Неужели это и есть соперница? Та самая, ради которой он пожертвовал свободой? Бледная дочь ювелира опиралась на его руку, и он бережно поддерживал ее. Клотильда заглянула ему в лицо и снова ощутила не то страх, не то досаду. Геро улыбался. Но улыбался он не ей, благородной, могущественной принцессе крови, а той самой неуклюжей, нелепо одетой женщине, стоящей с ним рядом. Он не только улыбался, он неотрывно смотрел на нее. И как смотрел! Клотильда снова почувствовала страх. Это был страх непонимания, ужас закоренелого грешника, который внезапно узрел рай. Его взгляд был полон нежности, осторожной заботы и тревоги. Это был свет, мягкий, ласкающий, дарующий успокоение и радость. Посредством этого взгляда он будто окутывал свою жену невидимым покровом, укрывал от невзгод магическим плащом своего присутствия.

Герцогиня с трудом могла бы определить то, что видела, разгадать качество и природу этого света. В постигшей ее сумятице ей удалось отделить что-то похожее на страх и зависть. А вслед за ними яростное отрицание. То, что недоступно разуму, не поддается под определение, нарекается пугающим и враждебным. Она чувствовала потребность затемнить этот свет, развеять странное очарование и разрушить противоречивый союз. То, что она видела, не может существовать! Это соблазн, еретический вызов!

Но они существовали, эти двое, – темноволосый мужчина и бледная юная женщина. «Оба невинны душой, богов почитатели оба...»⁴ Отец Мартин благословил их, от нее им достался лундор.

* * *

Тогда мне это тоже казалось безумием. Блажью. Когда Мадлен в первый раз робко высказала предположение, я ей не поверил. Это было в день Святого Иосифа, епископ в храме благословлял детей. Она тоже присутствовала, раздавала мелочь. Одна монетка досталась Марии. Когда мы вышли, Мадлен, споткнувшись, едва не упала. Я поддержал ее, а она, спрятав лицо в

⁴ Овидий. «Метаморфозы».

ладонях, долго молчала. Меж пальцев блеснула слезинка. Я не придавал тому особого значения, ибо в те последние недели перед родами она часто плакала. У нее отекали ноги, ей трудно было дышать, а по ночам она почти не спала. Если удавалось заснуть, то просыпалась внезапно и с криком. Ей снилось, что воды отошли, начались схватки, а рядом никого нет. Она одна в пустом доме. Она зовет, кричит, но никто не слышит. И ей страшно. От ужаса она просыпалась. На худеньком личике испарина. Я утешал ее, как мог, уверял, что я всегда буду рядом, что ей нечего бояться... Она молча, как зверек, прижималась ко мне.

И вот снова слезы. Я не спрашивал, ждал, когда она сама найдет в себе силы и заговорит. Мы уже вернулись к себе, в свои две комнатки под самой крышей. Мария катала по полу монетку, позвякивая новой игрушкой. Когда попыталась прикусить, я привлек ее внимание куклой с соломенными волосами и забрал монетку. Целый луидор.

– Ого, да мы богаты! Сегодня будет королевский ужин! Мадлен тихо сидела в углу. Потом обратила ко мне бледное личико. И тихо сказала:

– Она смотрела на тебя. Я не понял и продолжал подбрасывать монетку на ладони, прикидывая, в каком трактире заказать ужин и что еще можно купить на оставшуюся мелочь.

– Она смотрела на тебя, – повторила Мадлен. – Кто смотрел? – беззаботно переспросил я. – Она. – Да кто она?! Я не понимаю, Мадлен. – Герцогиня. Я опять ничего не понял. Мария требовала назад игрушку, и мне пришлось вступить с ней в переговоры. В качестве откупного я вручил ей мяч из цветных лоскутков и крошечную битку.

– И что с того? Она и на тебя смотрела. Мадлен покачала головой. – Нет, она видела только тебя. Я пожал плечами. Мы, мужчины, слишком рациональны, нам нужны доказательства. В предчувствия мы не верим. А мне как раз предлагалось поверить в предчувствие, и не просто в предчувствие, а в предчувствие беременной женщины. Всем известно, что, ожидая ребенка, женщины становятся подозрительными, их одолевает тревога, им мерещатся предприимчивые соперницы, и они ревнуют, даже не находя для этого достаточных оснований. Именно так я себе это объяснил. Мадлен, бедняжка, так чувствительна. Беременность протекает тяжело. Она сильно подурнела, у нее появились отеки, темные пятна на лице. Она очень страдает. Даже избегает смотреть на себя.

В последнее время она часто упрекала меня, обвиняла и даже требовала признаний. Утверждала, что всё знает о моих изменах. С той модисткой из соседнего переулка или с женой лавочника с улицы Дю Ша-Ки-Пеш. Не зря же эта толстуха так охотно отпускает в кредит! А эти гризетки, горничные, молодые хозяйки. Они все в этом замешаны! И чтоб я не смел отпираться. Я и не отпирался. Только гладил ее по волосам и целовал мокрые ресницы. Через пару часов, уткнувшись в мое плечо, она каялась и просила у меня прощения. Все это было как игра. Ни она, ни я всерьез в эту игру не верили. Так было положено по роли. И Мадлен старательно ее исполняла.

Но на этот раз в ее голосе что-то изменилось. Она что-то чувствовала. Одна женщина всегда разгадает другую. Да, на меня смотрели другие женщины – и горничные, и жены лавочников, и юные монастырские воспитанницы, и даже благородные дамы, которые бывали у епископа на исповеди. Эти последние прятали свой интерес за презрительным равнодушием. Секретарь епископа! Нищий студент. Простолюдин. Но все же они смотрели, отводили взгляд и снова смотрели. Я не обращал на это внимания, знал, что дальше взглядов это не пойдет, и потому смело убеждал Мадлен в своей супружеской неприкосновенности. А при упоминании сестры короля (сестры короля!), виновной в тех же прегрешениях, я и вовсе смеялся.

– Ты мне льстишь, Мадлен. Подумать только, сама герцогиня Ангулемская! Я могу загордиться, а гордыня – смертный грех. Неужели ты хочешь, чтобы я попал в ад? Пожалей мою бессмертную душу!

Я все еще пытался обратить ее ревность в шутку. Мария ударила по мячу, и я откатил его ей обратно. Но Мадлен не улыбалась. Глаза высохли, она все еще морщила лобик.

– Она смотрела на тебя.

Но я отмахнулся. Не верил. Уж слишком невероятным было то, что она предполагала. Все равно, что заподозрить султана Марокко в тайном почитании Христа. Или папу Урбана в совершении намаза. Страхи беременной женщины – вот что это.

Мадлен что-то почудилось в ее глазах. В ее холодных, серо-стальных с червоточинной глазах. Но это безумие.

Мадлен завела этот разговор еще раз, когда герцогиня явилась с очередным пожертвованием. Ее высочество была на удивление щедра. Отец Мартин дрожащими руками пересчитывал тяжелые мешочки. Глаза его сияли. Сколько добрых дел, угодных Господу, он сотворит благодаря этим мешочкам, скольких голодных детей накормит, скольким несчастным укажет путь... Старик не сомневался. Это сам Промысел вмешался и заронил жемчужину милосердия в душу высокородной дамы. А Мадлен твердила свое:

– Она на тебя смотрела! Блажь беременной женщины. Господи, за что Ты наказываешь нас? За что лишаешь нас разума? Это все гордыня. Я не слышал ее. Не слышал свою жену, хотя она отчаянно взывала ко мне. Вот она, слепая и глухая самоуверенность мужчины. Женщина сотворена из ребра и дана мужчине в помощники. У нее нет разума.

Но у нее есть сердце. И это сердце мудрее и прозорливей самого пронизательного ума. Ум складывает картину из цифр, а сердце – из знаков. Ум требует доказательств, а сердце довольствуется чувством. Она чувствовала, а я выстраивал силлогизмы. Мои доводы укладывались в безупречные логические цепочки, а она твердила свое, и в глазах ее стояли слезы.

А потом мне представили доказательства. Ее высочеству понадобилось написать письмо, а я был призван в исполнители, ибо собственного секретаря у высочайшей особы под рукой не оказалось. Я был польщен. Сама герцогиня Ангулемская! И за труды вознаградит. Достопамятные пистолы серебром. Целых два. Отец Мартин посылал меня в Аласонский дворец представить полный отчет внезапной благодетельнице. Когда я принес ей счета и расписки, она меня отблагодарила. И на этот раз не поскупились. Не скупится же она на подарки сиротам! Она щедрая. Ею руководит Господь.

Она диктовала, а я прилежно выводил буквы. Делал паузы, пока она размышляла. Слушал ее шаги за спиной. Она ходила по комнате, размышляла, прикидывала. Я ее не видел, только слышал. Да и зачем мне на нее смотреть? Мое дело исполнять. Она както затихла слева от меня, совсем близко. Слова не произносила. И юбки не шелестели. Я терпеливо ждал, не оборачиваясь. Как вдруг почувствовал на затылке руку. Ее руку. Она запустила в мои волосы пальцы. Потом ее рука властно, без колебаний скользнула по моему плечу и груди. Она наклонилась, и я услышал ее дыхание. И ее духи. Ее безукоризненный белокурый локон коснулся щеки. Я оцепенел. Привычный мир затаился и готов был взорваться. Мой рассудок пугливо замер. Только сердце бешено колотилось. Она вновь сгребла мои волосы, потянула назад и вновь наклонилась. Совсем близко. Горячее и влажное коснулось моего уха. Ее язык... Он скользнул с каким-то особым, сладострастным изворотом, с пугающей греховной опытностью. Мадлен ничего подобного не умела, ей бы это и в голову не пришло. Она была так застенчива, бедняжка. А кроме Мадлен, ни одна женщина так не касалась моего тела. У меня горло перехватило, а она уже шептала, ровно, без признаков смущения.

– Через три дня я вновь навещу твоего благодетеля. К вечеру у меня случится легкий обморок, и по причине дурноты мне придется остаться на ночь. В полночь я спущусь в библиотеку, и там меня будешь ждать ты. Слышишь, мой мальчик? Фортуна любит тебя.

И вновь этот изворот языком. Пауза, горячий скатившийся по шее вздох. Затем отпустила. Обошла стол и встала напротив. Смотрела на меня и улыбалась. Голову склонила набок – изучала. Я чувствовал ее взгляд. На коже. Ей было интересно, хотела знать, что изменилось и что произойдет дальше. Наслаждалась моей растерянностью.

– Продолжим? Ее голос звучал с игривым равнодушием. О чем это она? Ах да, письмо. Но я забыл, как это делается. Посыпались кляксы. Лист был безнадежно испорчен. Кажется, я просил прощения. Но она была великодушна, все мне простила и даже накрыла мою руку своей.

Я вышел из комнаты. Руки и ноги тряслись. Я прислонился к стене и попытался вдохнуть. У противоположной стены стояла придворная дама, та самая, кого герцогиня отослала прежде, чем начать диктовать. Ее скуластое лицо с темными глазами было мне знакомо. Кажется, я ее знал и даже говорил с ней, но в тот момент не мог вспомнить, где и когда. Она мрачно на меня взглянула. Затем, приблизившись, произнесла:

– Будь осторожен. Она всегда берет то, что желает.

Глава 4

Он сидел за столом. Темные волосы. Лицо усталое и очень молодое. Из-за бьющего в глаза солнца она не сразу различила детали, но отметила явление, необъяснимое прежде: на фоне привычной черно-белой прозы, плоской, давно разгаданной, он был единственным цветным пятном, яркий рисунок на влажной штукатурке, рисунок живой и объемный. Она не могла дать тому объяснений, просто смотрела. Глаза ее постепенно привыкли. Высокий, укрытый темной прядью лоб, благородной формы скулы, твердый и нежный рот, упрямый подбородок, и еще она увидела его руки, его пальцы, изящные и сильные. Когда она вошла вслед за стариком, он держал в правой руке перо, а левая свободно лежала поверх бумаг. Рукава его поношенной куртки были закатаны почти до локтя, оставляя свободными запястья. И она невольно залюбовалась.

* * *

Я вышел на улицу. Лицо горело. И нечем было дышать. Руки по-прежнему тряслись, а ноги плохо слушались. Стыд, ужас, смятение, и в этом вихре – чувственная горечь. Да, именно так. Я чувствовал возбуждение. Стыдное, гадкое. То, что приходит с другой стороны, оттуда, где нет света, а есть только плоть, землистая, неодушевленная. Дыхание греха. Нет, не того смешотворного, мальчишеского, когда пялишься на стройную щиколотку гризетки, а греха глубинного, изначального.

Я бросился прочь. Бежал по улицам, спотыкался, с кем-то сталкивался, слышал в свой адрес проклятия, но остановиться не мог. Пытался стряхнуть след ее рук. Этот след все еще проступал ожогом на коже затылка и на плече, где задержалась ее ладонь.

А мочка уха была отвратительно влажной. Я несколько раз провел по ней рукавом, но присутствие влажного и горячего только усиливалось. Нашел в кармане мелочь и в первой попавшейся лавке купил вина. Дешевый мозельский уксус. Но он приятно кислил, и я сделал несколько глотков.

Боже милостивый, Мадлен права... Мадлен права! Как же это возможно? Как же теперь быть?

Я оставил кувшин на прилавке и побрел домой. Принцесса крови! «Она смотрела на тебя!» Господи, как же я был слеп.

Когда это началось? Возвращаясь по цепочке событий, обретаешь его, первое воспоминание. Начало, исток. Как озарение, вспышка во тьме спасительного беспамятства. Она пожаловала в феврале, сразу после масленичных гуляний. Вероятно, под предлогом, что нуждается в исповеди.

Отец Мартин показывал ей дом, больницу и трапезную. Затем привел в библиотеку. А я все еще оставался там. Работал всю ночь, переписывал набело прошения, которые мне заказали торговцы с улицы Сен-Дени, готовил заметки к семинару, правил перевод, который должен был сделать для Габриеля де Бризо за 20 ливров, и еще что-то. Кажется, выбрал несколько цитат из «*De libero arbitrio*»⁵ Блаженного Августина. Я не спал всю ночь и очень устал. Ныла спина, и глаза слезились. От дешевых свечей, которые быстро и бесформенно оплывали, было душно. На рассвете я даже задремал, уронив голову на руки, но проснулся от холода. Огонь в камине погас. Я нашел несколько деревянных обрезков и вновь развел огонь. Солнце уже встало. Пятна горели на полу, на кожаных переплетах, но тепла не было. Весна только набирала силу. Я подержал окоченевшие пальцы над огнем и вернулся к столу. Предстояло составить

⁵ «О свободе воли»

еще несколько писем. Отец Мартин обычно делал краткие заметки, о чем следовало упомянуть в послании, а текст я добавлял сам. Подумал, что надо скорей закончить и подняться к Мадлен. Она целую ночь была одна.

Затем я услышал шаги и голоса. Узнал отца Мартина. Похоже, с ним гости. Старик благодушно щебетал. Хлопочет о пожертвованиях. Весь в трудах. Я выжидающе смотрел на дверь. Кто это с ним?

С ним была дама. Знатная дама. Одета роскошно. Держится прямо и в то же время с какой-то благородной небрежностью. Как держатся все они, те, кто наделен властью. Лицо красивое, узкое, бледное. Веки полуопущены. Губы чуть кривятся. Она благосклонно вникает этой старческой трескотне, но, похоже, едва ли улавливает смысл. Ей скучно.

На ней черное платье из тонкого переливчатого бархата. Мадлен как-то прижалась щекой к штучке такого бархата в лавке, когда мы бродили по торговой площади, и потом долго рассказывала, какая это теплая и нежная ткань, как она окутывает, будто облако, нежит и балует. Бедная девочка, она могла об этом только мечтать. Штопала старый шерстяной чулок и придумывала платье, какое сшила бы себе из этой волшебной ткани. А гостя была обмотана в этот бархат с головы до ног, с большими излишками, которые ложились складками у талии и на руках. К тому же с плеч у нее спадал такой же безразмерный плащ с оторочкой из горносталя. (Из такого плаща Мадлен соорудила бы себе три платья. Да еще пару юбочек для Марии.) По краю плаща вилась серебряная лоза, разбрасывая замысловатые округлые ветви. Точно такая же серебряная вязь сбегала по ее корсажу к талии и там, раздваиваясь, уходила вниз по широкой юбке. В этих серебряных узорах мерцали крошечные, искусно вшитые жемчуга. Точно такие же жемчуга украшали ее волосы. На плечах – облако драгоценных кружев. Только на руках ни одного перстня. Герцогиня Ангулемская. Сестра короля.

Все эти подробности – серебряное шитье, кружево, жемчуг, скучающий вид – всплыли в памяти внезапно. Тогда, в минуту ее визита, я ничего не заметил. Я слишком устал и уже пару часов боролся со сном. Все вокруг подернулось дымкой, расплылось, а люди двигались как безликие, бесформенные силуэты. Действия я совершал машинально. Она вошла, я встал и поклонился. А вот какое все это имело значение и какой несло в себе тайный смысл, мне открылось гораздо позже. Мы всегда видим только то, что хотим видеть, или только то, что позволяют нам видеть наши страхи. Мы слепы по собственному желанию. А затем я хлебнул мозельской отравы и прозрел.

Ее скучающее лицо. Очень правильное, гладкое, неподвижное лицо власти. Она сама власть, она рождена ею, она носит эту власть на плечах, как свой безразмерный плащ. Сияние холодного, презрительного могущества исходит от нее, разливаясь вокруг, как разливаются сияние праведников. Она глядит на меня с величавым равнодушием. Еще один предмет мебели, вроде тех пыльных шкафов, что выстроились вдоль стен и набиты книгами. Из-под полуопущенных век, совершенно неподвижных, будто приклеенных к главному яблоку, скользит ее взгляд. И вдруг этот взгляд возвращается. И веки дрожат. Она смотрит на меня. Пока поднимаюсь из-за стола, пока делаю шаг, пока изгибаю спину в поклоне. Она смотрит. А затем протягивает руку. Принцесса крови протягивает мне руку! И снимает перчатку. Не будь я полумертв от усталости и слеп от рези в глазах, я бы удивился. Смутился бы, опешил, не сообразил бы, что мне с этой рукой делать. Тарасился бы на нее как неотесанный деревенщина. Но, к счастью или к несчастью, я был слегка не в себе и потому действовал без раздумий. Она протянула руку, я взял и поцеловал. Рука такой же фарфоровой белизны, как и ее лицо, с голубоватыми жилками, сухая и прохладная. Ногти розовые. Она позволила мне эту руку лицезреть и даже познать на ощупь. И я не нашел в этом ничего удивительного! Не задал себе ни единого вопроса. Следует обладать завидной долей самоуверенности, чтобы усмотреть причину этой милости в самом себе. А я этой самоуверенностью не обладал и потому счел происшедшее за случайность.

Глава 5

Итак, она определила болезнь. Желание. Впервые за много лет она желала мужчину. Желала его не как опосредованный символ игры, как трофей или орудие, а желала в самом изначальном, презираемом смысле. Она желала его как любовника. Ее влекло к нему, и влечение было пугающим по силе и насыщенности. Оно не поддавалось привычным тискам рассудка, не тускнело от приводимых доводов и не растворялось в рутине дней. Напротив, подвергаясь угнетению, оно крепло, будто питаясь своими стражами.

Возможно, ей мстила отвергаемая женская природа, которую много лет назад она объявила своим врагом. Эта природа, как покоренный завоевателями народ, терзаемый игом, в конце концов желает признания и свободы. Это зерно греха в плоти человека, его изъян и его слабость. Такая же неустрашимая зависимость, как голод или жажда. Как бы смертный ни пытался возвыситься, вознестись к вершине могущества, плоть не позволит ему чрезмерно увлечься. «Respite post te! Nomīnem te temento!»⁶ – шепчет раб за спиной триумфатора. Если великого властелина лишить пищи, то он умрет, невзирая на все свое величие. Как умер царь Мидас, пожелавший обрести дар обращать в золото все, к чему прикоснется. Алчность лишила его рассудка (ох уж эти страсти!), и он забыл, что та же участь превращения постигнет и кусок хлеба, как только он возьмет его в руку. Великий царь умер от голода. Зависимость от телесной прозы сводит на нет все разглагольствования и мечты о свободе.

Свобода – это призрак. Она, герцогиня, тоже мнила себя свободной, называя себя охотником, идущим по следу, но оказалась в ловушке. Что же ей теперь делать? Лекарства нет. Спасения нет. Но почему нет спасения? Ей вовсе не обязательно умирать от голода. Она может его утолить. Она столько лет запрещала себе эту слабость – увлечься, потерять голову, что давно искупила грех. Она отрицала саму жизнь, почитая ее за врага. Почему бы не обратить своего врага в союзника? Почему бы не позволить себе приключение? Безумство? Слабость? Почему бы не развлечься, в конце концов? Что она теряет? Она может затеять охоту, тайную, неспешную. Она может расставить силки и раскидать приманку, а затем предвкушать. Процесс выслеживания и охоты на зверя не менее сладостен и увлекателен, чем сам триумф. Она будет наслаждаться. Она загонит зверя до изнеможения, до дрожи в ногах, она вынудит его упасть на колени и признать свое поражение. Возможно, она даже ранит его. Или убьет. Но это будет потом. Сначала будет победа. Чистая победа.

* * *

Я знаю, меня находят привлекательным. Мадлен не раз говорила об этом. Глаза ее при этом ревниво темнели. Отец Мартин предостерегал. В университете требовали список моих побед. А я не находил это достаточно убедительным, чтобы возгордиться. Да, черты лица правильные, неплохо сложен, волосы густые, кожа чистая. Что с того? Плоть есть томление и прах, век ее недолог. Стоит ли превозносить ее зыбкие совершенства? Юность кончится, волосы поседеют, лицо обезобразят морщины, и то, что прежде ласкало взгляд, станет поводом для насмешек. К тому же кроме внешности человеку даны еще разум и дух. А что такого великого я познал, или каких таких недостижимых высот достиг мой дух, чтобы дать мне повод возгордиться? Самоуверенность не произрастает на бесплодной почве. Родителей своих я не знаю, первые воспоминания отсылают меня к бедному монастырскому приюту. Затем недолгие мытарства в приемной семье, куда меня взяли лущить горох и таскать воду. Очень скоро побег и скитания в стайке таких же безродных оборвышей. Голодные дни и ночи. Наступившая зима.

⁶ «Обернись! Помни, что ты человек!» (лат.)

И встреча с отцом Мартином по невероятной божественной случайности. Вот моя короткая жизнь. Если у кого и есть повод собой гордиться, так это у отца Мартина: из грязного, дикого, исхудавшего найденыша он воспитал для своего короля вполне пристойного подданного. Я ему всем обязан. Он славно потрудился, мой бедный отец. Тем не менее, даже овладев латинским и греческим, я остаюсь все тем же найденышем. Я слишком ничтожен. Мной не могла увлечься принцесса крови. Пусть она и бывает в доме отца Мартина, пусть бросает в мою сторону взгляды, но у нее другие мотивы. В этом я уверен. Она добрая христианка, дала обет, совершив паломничество в Мармутье⁷. Или такова ее искупительная жертва! Ничего другого и быть не может.

Оказывается, может. Неожиданно сердце сдавила такая тоска, что из глаз едва не брызнули слезы. Мадлен, бедняжка, уже несколько часов одна, а я обещал скоро вернуться. Я бросился к дому епископа через площадь Сорбонны, перепрыгивая через канавы и выставленные поперек улиц прилавки, пугая и расталкивая мелких торговцев.

Мадлен сидела с пальцами у окна. Она брала надомную работу у знакомой золотошвейки – вышивала на платках монограммы. Получалось у нее очень неплохо, но я запрещал ей заниматься этим подолгу. Она согласно кивала, но я знал, что стоит мне оказаться за дверью, как она тут же возьмется за пальцы. Чтобы заработать несколько су. Избавить меня хотя бы от одной бессонной ночи. Я взглянул на нее с порога, и к сердцу вновь подступила тоска и какая-то мучительная нежность.

Она же еще совсем девочка. Худенькое личико, большие глаза. Я увел ее из родительского дома, когда ей едва исполнилось семнадцать, и обрек на полуголодное существование. Она выносила нашего первого ребенка и сейчас носила второго. Роды были тяжелыми, и врач, мэтр Бонне, сказал, что повторной беременности следует избегать по меньшей мере лет пять, чтобы сохранить жизнь матери. Я готов был соблюдать предписание врача и даже отказывался от супружеских притязаний, но Мадлен по прошествии двух месяцев сказала, что слишком любит меня и не желает обречь на такие страдания. Я и тогда не сразу сдался, хотя мне это было нелегко, но Мадлен однажды прошептала, краснея и пряча лицо, что ей самой как-то не по себе без этих самых притязаний. Тут уж мне нечего было возразить. Я жалел ее и готов был на любые жертвы, но она, глупышка, не желала быть фиктивной женой. Позже мне пришлось в голову, что тут не обошлось без сплетен, которых она наслушалась, отправляясь по утрам на рынок или помогая на монастырской кухне. Там шли обычные разговоры о том, что муж, отлученный от супружеского ложа по причине болезни или беременности жены, непременно найдет утешение у какой-нибудь бойкой красотки. А уж если муж такой красавчик, как у нее, то тем более без интрижки не обойдется. Смотри в оба. Вот она и смотрела, милая девочка, в полной уверенности, что все мужчины, не исключая и ее мужа, готовы на случайный грех по десять раз на дню. Иногда она меня проверяла (опять же следуя советам наставниц): ласками и поцелуями увлекала в постель, едва лишь я переступал порог. Я должен был доказать на деле, что нигде не растрчивал себя и с легкостью готов исполнить свой супружеский долг. Я немедленно разгадал ее наивный замысел и тихонько посмеивался. Бедная моя девочка, мне бы ничего не стоило обмануть тебя, и ты бы никогда не узнала о моей измене. Но зачем? Я любил ее, а она, несмотря на детские уловки, всецело мне доверяла. Я не мог ее предать.

Я быстро пересек комнату, взял руку жены и поцеловал тонкие исколотые пальцы. В этом мое единственное спасение. Только так я могу избавиться от скверны. Ее теплые полудетские ладошки...

– Что с тобой? – спросила она. – Ты такой бледный. Я прятал лицо в ее ладонях. Не хотел, чтобы она видела меня. Все еще этот мучительный стыд. А ухом прильнул к ее животу. К ее огромному, круглому, невероятной красоты животу. Изнутри последовал мягкий укол.

⁷ Аббатство Мармутье основано в IV веке святым Мартином Турским.

– Толкается, – прошептала Мадлен. – Скоро уже. Я приложил другое ухо, и вновь с другой стороны толчок. – Да он драчун! – Нет, – мягко возразила Мадлен. – Он нетерпеливый. На свет просится.

Мы оба не сомневались, что будет мальчик. Мария, наш первенец, пребывая в утробе матери, вела себя очень пристойно, почти не досажая плохим самочувствием. А второй младенец вел себя крайне настойчиво. Мадлен жаловалась, что он играет на ней, как на полковом барабане. И вздыхала: «Мальчишка!»

У меня за спиной послышались шорох и сопение. Мария выбралась из своего угла и направилась за своей порцией ласки. Она уже освоила искусство ходить, но иной раз для пущей убедительности вновь опускалась на четвереньки, и тогда ни одно препятствие не преграждало ей путь.

– Я не забыл о вас, мадемуазель! – сказал я и взял на руки подбиравшуюся ко мне девочку.

– Ко мне она так не просится, – ревниво заметила Мадлен. – Мне иногда кажется, что я для нее и вовсе не существую. Вспоминает, когда хочет есть.

В словах Мадлен была доля правды. Мария действительно из нас двоих явно предпочитала меня и по детской своей прямолинейности привязанности не скрывала. Стоило мне переступить порог, как она бросала все занимавшие ее предметы и следовала за мной неотступно. А если находила, что я непозволительно долго уделяю внимание ее матери, поднимала крик. В мое отсутствие она не доставляла особых хлопот, не капризничала, но все же я иногда забирал малышку с собой, если намеревался несколько часов работать в библиотеке. Девочка развлекалась тем, что комкала и разбрасывала старые бумаги, а если уставала, то дремала у меня на коленях. Иногда она как зачарованная следила за моим пером, которым я выводил загадочные для нее знаки, нисколько не скучая и не утомляясь. Мадлен в это время могла заняться хозяйством, сходить в лавку или просто передохнуть.

– А если будет девочка? – хитро осведомилась Мадлен, пока я возвращал Марию к ее занятиям.

В ответ я возвел глаза к небу. – Тогда одному Богу известно, как я один со всеми вами управлюсь! Ночью Мадлен, умиротворенная моей лаской, быстро уснула. А я не спал. В тишине беспокойные мысли вернулись, с кричащей яркостью подступили воспоминания.

Глава 6

Дьявольское присутствие в плоти человеческой дает причудливые и разнообразные метастазы. Каждый носит в себе это зерно, эту сатанинскую пряность, которую Люцифер подмешал в эдемскую глину. И освободиться от изначальной гнили под силу только истинному святому. А святой... Святые – это плод воображения голодных попов, измысливших эти сказки для пополнения церковной кружки. Кости праведников хорошо продаются.

* * *

«Через три дня...» Что же мне теперь делать? Рассказать Мадлен? Нет, невысказано. Бедная девочка не вынесет. При всей своей любви ко мне и при всем доверии, которое она ко мне питает, ей трудно будет поверить в мою мужскую незаинтересованность. Она тут же начнет сравнивать, отыскивать улики и доказательства и, распаленная подозрениями, разрешит спор не в свою пользу. Будет терзаться, страдать, изводить себя ревностью. Если бы не беременность... Это усиливает ее беспокойство. Нет, говорить с Мадлен – это самоубийство. Или убийство.

Тогда с кем же? Исповедаться отцу Мартину? У меня от него никогда не было тайн. Все, что меня тревожило, что досаждало или вызывало сомнения, я доверял ему в исповедальне, и святой отец разрешал мои сомнения советом или молитвой. Как он поступит на этот раз? У меня опять подкатила тоска. Бедный старик, такой удар, и от кого! От приемного сына. От любимого воспитанника. Отец Мартин все еще верит, что на герцогиню снизошла благодать и что она благочестивым рвением спасает душу. Знал бы он, что это за благодать! Я чуть не застонал. Старик будет в отчаянии. И наделает глупостей. В отличие от Мадлен, меня он обвинять не станет, а вот герцогине достанется. «...И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей...»⁸ Вавилонская блудница будет заклеяна, предана анафеме и немедленно изгнана. Он обрушится на нее в обличительной проповеди. И перессорится со всей знатью. От него всего можно ожидать. Благородные господа отвернутся. И пожертвования прекратятся. К тому же герцогиня вряд ли последует заповеди Христа и подставит вторую щеку. Она будет мстить. Я вновь вспомнил ее холодное, высокомерное лицо и то могущество, которое она излучала. Она не привыкла, чтобы на ее просьбу, каприз или желание отвечали отказом. Она привыкла брать, и она не остановится до тех пор, пока те, кто оскорбил ее, не понесут наказание. Она будет мстить. Да пусть бы только мне. Но есть еще Мадлен, Мария и малыш, который должен вот-вот родиться. Что будет с ними?

Господи, что же делать? Помоги мне, подскажи. Я терзался этими вопросами все последние сутки. Уже почти решил пойти к отцу Мартину, но передумал на половине пути. Мадлен вновь спрашивала, не болен ли я, ибо при всех моих лицемерных потугах мне не удавалось до конца скрывать свои мысли. Иногда я утешал себя предположением, что герцогиня и вовсе не приедет, что она передумает, что она найдет себе другого, более достойного, что она опомнится, что секретарь епископа не покажется такой уж желанной добычей, что она заболит, упадет с лошади, отправится в изгнание. Но подобные уговоры действовали недолго. Вновь подступали тоска и странный, подспудный ужас.

На третьи сутки мысли несколько изменили направление. Я ослабел и уже не в силах был искать выход. Дьявол не замедлил этим воспользоваться. А почему, собственно, ты так ее боишься? Герцогиня красивая женщина. Очень красивая. Нежная кожа (вспомни ее руку!),

⁸ Откровение Иоанна Боослова 17:4.

тонкий стан, высокая грудь. К тому же она богата. Что ты теряешь? Ты же не юная девица, которой угрожает бесчестье. Ты мужчина и в силах исполнить все ее прихоти. А если ты ей понравишься, она тебя вознаградит. Отсыплет монет. Тебе ведь нужны деньги? Нужны? Конечно, нужны. Пожалей свою жену. Она горбится у окна с этой вышивкой, у нее исколоты пальцы, слезятся глаза. Ты сам чаще проводишь ночи не на супружеском ложе, а за письменным столом. Пишешь трактаты за гроши для состоятельных недорослей, сочиняешь прошения для торговцев. Тратишь юность, бесценный краткосрочный дар, на душные университетские кельи, на изучение человеческих кишок, на бычьи пузыри. Ты превращаешься в старика. Пока ты молод, полон сил, тебя хватит на десяток таких герцогинь, ибо плоть твоя желает гораздо большего, чем может дать Мадлен. За что же ты наказываешь себя? За что обделяешь? За что приговорил себя к неутолимому голоду, который неизменно терзает мужчину, если он противодействует природе? Ты боишься изменить? Нарушить клятву? Это и не измена вовсе. Ты делаешь это не по собственной воле, а всего лишь подчиняясь приказу. Она особа королевской крови. И ты обязан ей подчиняться. Это твой долг как верноподданного. Чего же ты боишься?

Дьявольский голос не умолкал. То скатывался до шепота, то угрожал. Мне виделась вытянутые в трубочку, извергающие слова губы, я почти чувствовал их прикосновение, такое же жаркое и бесцеремонное, как то, первое. Дьявол, как опытный торговец, разворачивал передо мной гирлянду из сияющих соблазнов. Искушение подступает. Ты боишься обратить свое тело в товар, но разве ты сам уже не товар? Ты продал свой ум, свое время, свою молодость. Но продал все это за гроши. Не выгодней ли продавать за золото тело? Тем более что плоть наименее ценное составляющее. Тебе это представляется грехом, но если ты отвергнешь герцогиню, вызовешь ее гнев, то совершишь еще больший грех – подвергнешь опасности тех, кого любишь. Ты отплатишь черной неблагодарностью епископу, который вырастил тебя, ты обречешь на голодную смерть Мадлен, которая ради тебя покинула отчий дом, ты осиротишь свою дочь, которая обречена будет на монастырский приют. Ты погубишь их всех! Вот чего ты добьешься, если пожелаешь играть в добродетель. Ты станешь преступником. К концу третьих суток я был в полном изнеможении и желал только одного – поскорей бы все кончилось.

Мадлен уснула, прижавшись ко мне. Через час или два она с криком проснется и будет меня искать. Но не найдет. Я сделал бы все что угодно, чтобы защитить ее, избавить от этих кошмаров, хранил бы ее сон, как благоговеющий аргус. Но должен уйти. Она всего лишь маленькая простолюдинка, а ее тоска и страх ничего не значат по сравнению с прихотью знатной дамы.

Глава 7

В день св. Августина, сразу после Пасхи, когда парижане все еще затевали шутовские процессии с пальмовыми ветвями и разыгрывали тайную вечерю с пирогами и обильным возлиянием, в доме епископа Бовезского состоялся съезд небольшого почтенного благотворительного общества. В состав этого общества входили дамы-попечители приюта кающейся Марии Магдалины, которые своими трудами спасли немало погибших души, возвратили к свету отчаявшихся и падших. Так, во всяком случае, они полагали. Ее высочество герцогиня Ангулемская некоторое время назад изъявила желание войти в число почтенных попечителей и внесла значительную сумму в скудную казну. Ее благочестивый порыв был принят с благоговейным восторгом. Весть о том, что она имеет намерение почтить своим присутствием благородное собрание радителей невинности внесло в их ряды радостное возбуждение. Никогда еще столь знатная гостья не разделяла их скромную трапезу. Отец Мартин был также весьма горд, что знатная прихожанка преломит хлеб за его столом.

Клотильда прибыла в особняк епископа к восьми часам вечера. Она помнила, что назначила свидание на двенадцать. Она и тревожилась, и предвкушала. Ей предстояло пережить скучнейший ужин в компании матрон, среди которых была престарелая мадам де Бельгард, знавшая Генриха Четвертого еще королем Наваррским, и желчная графиня де Булонь, чьи нравственные воззрения строго соответствовали заветам апостола Павла. Истинный брак, по ее скромному разумению, должен был совершаться по взаимной неприязни, чтобы всю последующую супружескую жизнь преодолевать эту неприязнь, сглатывать рвотный позыв и таким почтенным образом спасать свою душу. А брак по взаимной склонности приравнялся ею к прелюбодеянию. Удовольствие от ласк мужчины означало гибель души, а желание этих ласк – одержимость демоном. Во время ужина Клотильда поспешила согласиться с очередной сентенцией старой дамы и даже процитировала пару строк из послания апостола к коринфянам: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом...»⁹

Речь за ужином шла о девочках-сиротах, плодах незаконной любви, а также о девушках, согрешивших по бедности и неведению. Всех этих девиц принимали в приюте Кающейся Магдалины и наставляли на путь истинный. Наряды и украшения были строжайше запрещены, дабы не вводить в соблазн. Воспитанницы носили бесформенные полумонашеские робы, волосы скрывали под безразмерными чепцами и целый день занимались рукоделием: подрубали простыни и скатерти, покрывали незатейливой вышивкой нижние юбки богатых и благочестивых горожанок. Одна из сестер-надсмотрщиц читала заунывным голосом откровения Иоанна Богослова, житие Екатерины Сиенской или устав Франсуазы Бретонской.

Слушая неторопливый разговор престарелых кумушек, Клотильда испытывала странное удовлетворение. Знали бы они, эти поборницы нравственности, в чем истинный мотив ее благочестия! Хотелось бы ей видеть их желтые иссохшие лица, когда она обронит вольное замечание о сладости отвергаемого ими греха, о теплой бархатистой коже, о шелковистых прядях, скользнувших сквозь пальцы, о длинных ресницах, о губах, сухих от волнения, нежных и покорных, губах, которых она через пару часов коснется. Как же она презирала этих святош, этих лицемеров, играющих в добродетель. Их души черны как сажа, а грехи так тяжелы, что немедленно потянут их вниз, в адскую бездну.

Час приближался. Клотильда уже сыграла приступ недомогания, и отец Мартин был счастлив предоставить в ее распоряжение парадный епископский альков, где стены с потрескавшейся штукатуркой были обиты бархатом, а пол устлан ковром. Сам епископ никогда

⁹ Первое послание к коринфянам 7:34

не ночевал там, предпочитая узкую полупустую келью рядом с кабинетом. Этот парадный покой время от времени становился пристанищем знатных пилигримов. Там останавливался посланник папы Урбана и провел пару ночей сам Венсан де Поль перед поездкой во владения семейства Гонди. Теперь настала очередь королевской дочери провести ночь в этой святой обители и мистически причаститься. Прочие благородные дамы уже покинули дом, после того как приняли благословение и приложились к епископскому перстню.

Сопровождала герцогиню вторая придворная дама, Дельфина. Эта последняя не беспокоила господу дерзкими вопросами. Ее не терзали сомнения и не мучила совесть. Ибо происходила она из той породы людей, которые свято верят в непогрешимость своих господ и в установленный ими миропорядок, где сильный попирает слабого, а слабый, в свою очередь, ищет выгод от служения поправшей его силе.

Дельфина знала, что ее хозяйка затевает любовное приключение. Сама она была не охотница до подобных забав, но рьяно способствовала хозяйским причудам, как будто посредством сводничества становилась подлинной участницей. Из-за своей внешности, вялой и тусклой, будто природа пожалела для нее красок, Дельфина была невидима для мужчин. Если к ней и проявляли интерес, то из откровенной корысти, ибо ее близость к принцессе крови искупала отсутствие женственности. Брови и ресницы у нее были редкие, волосы жидкие, и молодость ее будто подернулась ранней патиной с белыми разводами. Во многом Дельфина была полной противоположностью Анастасии, но в одном они неизменно сходились: обе ненавидели мужчин, одна – за пренебрежение, а вторая – за излишнее внимание.

Клотильду слегка позабавило, с каким старанием ее придворная дама расчесывала ей волосы и помогала переодеваться. Верная служанка снаряжает самоотверженную Юдифь на свидание с Олоферном. Еще бы меч наточила. Но Клотильда не возьмет с собой меч. Сегодня он ей не нужен. Она не собирается рубить голову будущего любовника или вырывать его сердце. Она будет наслаждаться.

Герцогиня вышла из парадных покоев и направилась к лестнице, ведущей в библиотеку. Этот путь с потайным фонарем в руках уже не один раз проделала Дельфина, убедившись, что в коридоре и на лестнице их никто не встретит. Теперь она шла впереди, настороженно прислушиваясь. Герцогиня беззаботно ступала следом. Давно она не чувствовала себя так хорошо. По коже будто искорки пробежали, а тело стало легким, упругим и будто светящимся изнутри. Если бы много лет назад, подобно дочери привратника или юной цветочнице с улицы Лагарп, она пережила первую, трепетную влюбленность, она бы сразу узнала эти искорки и эту легкость. Она бы услышала шелест многочисленных крыльев, прозрачных и сияющих. Но в ее жизни не было предрассветных волнений юности, она не засыпала на влажных от слез подушках, не прислушивалась с колотящимся сердцем к шагам за дверью, не изнывала в неизвестности и не ждала известий. Для нее юность обернулась тягеловесным расчетом, который стер в пыль ее детские грезы. Из короткого душевного детства она сразу перекатилась в рассудочную взрослость, оставив в забвении страну надежд. Ее женственности не суждено было расцвести, ее сразу залили воском и поместили под стеклянный колпак. И вот она по прошествии стольких лет что-то чувствовала, что-то неведомое, то, что не поддавалось рассудку. Это было тоньше, деликатней, чем встревоженная чувственность, неуловимей и приятней, чем нетерпение. Это был трепет жизни, ее зов, ее движение. Ей нравилось это ощущение. Она чувствовала себя внезапно помолодевшей, повернувшей время вспять. Она давно забыла, какой была в юности, в свои 15 лет. Вычеркнула все промахи и ошибки, заблуждения и надежды, все для того, чтобы стать неуязвимой. Но в усердии своем лишила себя всякой радости бытия. Цветы утратили свой аромат, а еда – горечь и сладость.

Дельфина остановилась у самых дверей скриптория и вопросительно взглянула на хозяйку. Фонарь в ее руке чуть покачивался, будто высказывал затаенную нерешительность.

Герцогиня перехватила стальную цепь и вдела пальцы в кольцо. Фонарь оттягивал руку. Обрывок пламени трепетал.

– Оставайтесь здесь, – произнесла герцогиня. Мгновение она колебалась. А если он не придет? Эта мысль впервые посетила ее. Прежде она не сомневалась, не возникало даже тени. Она слишком верила в собственное могущество и в тщеславие мужчины. Мужчина по природе своей слишком слаб, похотлив и корыстен.

Она толкнула дверь и огляделась. Конечно же он здесь. Как она могла сомневаться? Вот он, прячется в тени. Возможно, он здесь уже давно, от нетерпения перепутал время, боялся опоздать и вызвать немилость. Герцогиня приблизилась к огромному столу. За этим столом она увидела его впервые, немного встрепанного, с покрасневшими после бессонной ночи глазами. Стол был почти пуст. Аккуратная стопка бумаг и связка перьев. Клотильда водрузила фонарь почти в середину. Оранжевый лепесток, почуввав одобрение, попрос в своей колбе, и круг света стал расползаться. Геро оставался за пределами этого круга, свет поглощался тьмой у самых его ног. Но все же она успела заметить, как за темной прядью блеснули отразившиеся пламя глаза и тут же погасли. Он стал похож на зверя, которого факельная облава загнала в чащу. Он не пытался приблизиться. Ждал знака. Герцогиня мысленно одобрила его нерешительность. Действует правильно. Знает свое место. Она его выбрала, и за ней остается последнее слово.

Убедившись, что он без ее знака не двинется с места, Клотильда поманила его в освещенный круг. Сейчас станет ясно, что он на самом деле чувствует. И достаточно ли опытен в такого рода интригах. Если стремительно бросится к ее ногам, упадет на колени и будет что-то бессвязно шептать, глядя на нее влажно и проникновенно, это будет означать, что опыт у него есть. Кто-то из благородных дам, таких же знатных благотворительниц, как и она сама, уже дал ему предварительный урок, уже научил тонкостям куртуазного обращения. А если он будет неуклюж и дерзок, попытается сразу схватить ее, то это означает, что она, герцогиня, в нем ошиблась и что он не загадочный юный книжник с ясным и мудрым взглядом, а самоуверенный простолоудин. Но Геро не сделал ни того, ни другого. Он вошел в круг света, будто преодолевая некую преграду, протискиваясь сквозь вязкую и прозрачную стену, переходя из одной ипостаси мира в другую, испытывая при этом определенную неловкость. И снова был далеко, снова застыл в ожидании. Теперь она могла его разглядеть. Ей кажется, или он с их последней встречи немного осунулся? Или это так падает свет? Возможно, за эти три дня он мало спал, работал здесь, за этим столом или принимал участие в школярской пирушке. Но черты лица у него заострились. И взгляд тревожный. Он старается держаться уверенно, прямо, но заметно взволнован. Волнение исходит от него, будто сияние. Герцогиня подавила улыбку. Натянут как струна. Это хорошо. Это означает, что он не настолько избалован женским вниманием, чтобы мнить себя неотразимым. И никакой знатной наставницы у него нет. Она будет первой.

Герцогиня повторила свой манящий жест. И он, поколебавшись, сделал шаг. Теперь он совсем близко. На расстоянии вытянутой руки. Вновь бросил взгляд сквозь спутанную прядь и сразу опустил глаза. Дыхания почти не слышно. Это волнение передалось ей теми же горящими искорками, которые вновь запрыгали по коже. Воздух сгустился и наполнился не то восторгом, не то ужасом. Он вновь осмелился взглянуть на нее с каким-то приглушенным вызовом. Горло судорожно дернулось. Она видела, как двигается горловой хрящ под тонкой, нежной кожей, и не смогла вынести искушения. С той минуты, как она переложила свое намерение в слова и назначила время, она испытывала зудящую необходимость прикоснуться к нему, повторить краткий и заманчивый опыт. Она как будто подцепила эфирную болезнь, когда сгребла и спутала его волосы. Ее кожа на ладонях оказалась зараженной и требовала облегчения от зуда. Так пьяница жаждет вина, чревоугодник – изысканных блюд, а заядлый дуэ-

лянт – победы. Блаженство, изведенное однажды, становится навязчивой приманкой, единственной оправданной целью.

Она ждала этой полуночи, чтобы дать своим ладоням исцеление. Она помнила шелковистую легкость его волос и начала с того, что откинула темную прядь, которая скрывала лоб и размывала строгую, с изломом, линию бровей. Огненный пленник в пузатой колбе давал достаточно света, чтобы она убедилась в правоте своих изысканий и возжеланий. Она видела его лицо совсем близко, открытым, в игре теней, которые не скрывали очертаний, а скорее высвечивали. У него прекрасный высокий лоб, а взгляд проникновенный, ищущий. Он, бесспорно, очень умен, обладает талантами, которые еще не раскрыты и дремлют, как бутоны в цветочной завязи. У него ясные, почти всеведующие глаза. Такие глаза бывают у поэтов, проклятых или отмеченных великой милостью свыше, способных узреть небеса и самую адову бездну. Он еще слишком молод, чтобы понимать это, ибо прожил на свете совсем недолго и больше думал о хлебе насущном, чем о врожденном даре. Но она, принцесса крови, поможет ему. Она послана ему самой судьбой, чтобы увести его в сияющую даль из этой обители лохмотьев и медных денег.

Клотильда медленно провела рукой по его лицу, чувствуя, как взметнувшиеся и тут же опавшие ресницы щекочут ладонь. Эта едва уловимая щекотка покатила по ее руке и мгновенно размножилась, усилилась во всем теле. Краешком сознания она отметила, какой чарующий контраст создает ее белая рука и черная шелковистая прядь, вновь скатившаяся ему на лоб. Две крайности, две несовместимые антитезы, которые враждуют и стремятся к единству. Его кожа кажется смуглее и насыщеннее в свете крошечного фонаря. В этом золотистом, матовом блеске столько тепла, столько бархатистой нежности.

Подушечкой большого пальца герцогиня провела по его нижней губе, чуть дрогнувшей. От волнения губы сухие. Они подобны цветку, который выставили на солнечный подоконник и забыли полить. И зубы он сжимает так сильно, что под кожей щеки происходит движение. Почему же он так взволнован? До сих пор не попытался к ней прикоснуться. Слышно только короткое, уже учащенное дыхание. Неужели его смущает титул? Или он так неопытен, что боится совершить промах? Скорее всего, второе. Ему еще не доводилось иметь дело с такой высокородной дамой, и он не хочет обнаружить свое невежество. Бедный мальчик, как же он трогательно мил в своей детской робости. Чтобы его ободрить, она касалась его уже обеими руками, повторяя левой рукой путь правой. Отбросить прядь с виска, провести ладонью по гладкой, отвердевшей скуле, обвести контур губ. Под подбородком судорожно бьется жилка, кровь ударяет ей в пальцы с паническим упорством. Так же порывисто нервно, будто в раскаленной докрасна клетке, прыгает его сердце.

Герцогиня, уже не сдерживаясь, улыбалась. Опустив руки ему на плечи, она подалась вперед, чтобы щекой прижаться к его волосам, а губами – к уху.

– Не надо бояться. Я сестра короля, но я и женщина. Я всего лишь женщина. И я хочу тебя. Тебе только нужно меня слушаться, идти за моим желанием, и все будет хорошо. Если будешь нежным и ласковым, я тебя вознагражу.

Он не ответил. Только по горлу вновь прокатился ком. И дыхание чуть сбилось. Но герцогиня и не ждала ответа. Ей не нужны его признания и клятвы. Ей нужна его жизнь, его присутствие.

Она ощущала почти лихорадочный жар его тела и знала, что это тело полностью в ее власти. Но спешить некуда, целая ночь впереди. Истинное блаженство содержится в этом замедленном танце, в игре ощущений. Подлинный знаток пьет вино маленькими глотками, а не осушает залпом.

Она изучала свою прекрасную добычу размеренно, со вкусом. Она хотела пережить те мимолетные ощущения и те неясные токи, что возникали в ее пальцах, когда она впервые коснулась его. На нем не было куртки, только сорочка из потертого, но безупречно чистого,

кое-где аккуратно заштопанного полотна, грубого и, как ей показалось, враждебного. Вероятно, он пришел сюда прямо с супружеского ложа, и поэтому полуодет. Подозрение кольнуло ревностью, но и обострило чувства, как римский кориандр обостряет вкус. Эту сорочку иштопала его жена, эта бесцветная, изможденная особа с огромным животом. Какая, собственно, разница, если кожа под этим грубым полотном, будто пылающий шелк. Она уже не препятствовала своей потребности познавать его и наслаждаться. Бесцеремонно задрав эту сорочку, она провела ладонями от его ключиц до живота, провела медленно, исследуя каждую неровность, вновь дивясь этой кипящей под кожей молодости, незамутненной излишествами и пороком. Она изучала и исследовала. Удовлетворенно ловила пробегающую дрожь. Его дыхание становилось глубже и тяжелее. Он каким-то упрямым и угрожающим манером склонил голову, напоминая молодого быка, который готов ударить обидчика.

– Сними рубашку, – чуть задыхаясь, потребовала она. Ей самой уже не хватало дыхания. Она слышала свою кровь, гудящую, вернувшую прежний багрово-алый оттенок, бывший у нее при рождении, но утраченный со времени наступления чувственной смерти. Ее кровь вновь стала густой и горячей. Она испытывала желание, но это было другое желание, многомерное и многослойное. То, что ей удавалось испытывать прежде, было всего лишь тусклым костерком. То, что она испытывала сейчас, можно было сравнить с пожаром. В нем погибал разум, искрились и плавилась мысли, а чувства расширялись и готовы были взорваться, будто петарды, и вспыхнул этот пожар одновременно в нескольких местах – на затвердевших сосках, в животе, меж повлажневших лопаток – и оттуда стал расплзаться по всему телу. Вот она, та самая сладострастная мука. Герцогиня в нее не верила, полагала за выдумку поэтов и оболстителей, которые сулят своим жертвам утоление сладкой муки. Но эта мука существовала. Он подчинился ее приказу и потянул рубашку через голову. Она сама в нетерпении дернула за рукав и отбросила ткань в сторону. На миг его тело показалось ей ослепительным, как открывшаяся во тьме драгоценность. Теперь она могла погрузиться в свои ощущения, уподобиться хищнику, нагнавшему свою жертву и вонзившему в нее свои зубы.

Его губы горячие, но все еще сухие. Она сделала над собой усилие, чтобы замедлиться, затянуть миг слияния, изведать их почти мальчишескую неловкость. Его губы чуть приоткрылись, но он не отвечал так, как ей бы хотелось, возможно, из той же неловкости. Но ей было все равно. Ее рука скользнула вниз по его обнаженной спине. Чуть согнув ногу, она протиснула свое колено между его ног и стала медленно водить по внутренней стороне его бедра, чтобы усилить возбуждение и вывести его из этой одеревенелой нерешительности.

Он желал ее точно так же, как и она его, но почему-то все еще медлил. А должен был уже действовать, стиснуть ее, опрокинуть, покрыть жадными поцелуями. Впрочем, она приказала ему быть послушным и следовать за ее желанием. Она вновь страстно провела руками по его телу. Ей попался под ладонь шнурок его пояса. А ее колено терлось о грубый шов на плотном сукне.

– Сними это тоже, – чуть слышно проговорила она, проталкивая свои пальцы между тканью и натянувшейся повлажневшей кожей на животе.

Опираясь на стол, притянула его ближе. Ему уже ничего не оставалось, как обхватить ее и, легко приподняв, усадить на край того самого громоздкого стола, где он провел столько ученых изысканий. Ее длинная белая стройная нога, вынырнув из шелковых складок, обратилась в огромный крюк, зацепив свою добычу. Полузакрыв глаза, она уже падала, падала в бездну, не замечая ни холодной, болью упершийся в спину столешницы, ни странного скрипящего звука, донесшегося откуда-то издалека. Где-то в глубине сводчатого скриптория открыли дверь. Но она не успела предположить, что это за дверь. И кто ее открыл. Потому что в следующий ужасный миг она как будто выскочила из собственного тела, а мир обратился в крик.

Глава 8

Она в сорочке стояла у двери, в которую вошел я. Это была низенькая створка, выходящая на черную лестницу. Герцогиня пришла с противоположной стороны, через дверь, которая вела к покоям отца Мартина. Эту дверь она заперла, а вот ту, вторую, не заметила, а я был слишком взволнован, чтобы подумать об этом. И Мадлен проделала тот же путь, что и я. Она время от времени спускалась ко мне среди ночи, приносила что-нибудь перекусить. Потом она тихонько сидела рядом со мной и смотрела, как я работаю. Она ничего не смыслила ни в устройстве человеческого тела, ни в атомистической теории Демокрита, но ей нравилось признавать свою косвенную причастность ко всем этим тайнам. Ибо сказано, что муж и жена – плоть единая, следовательно, в моих трудах содержится и ее доля. Мне не так часто удавалось бывать с ней, вот она и восполняла своим бдением эти пробелы. Старалась мне не мешать. Брала с собой неизменную вышивку или штопала детские вещи, которые Мария успела порвать. Если рука отказывалась держать перо, я откладывал его в сторону. Тогда она забиралась ко мне на колени, и мы отдыхали, каждый от своей работы. Не произносили ни слова, только остро ощущали близость друг друга. Мы были вместе. А вместе мы ничего не боялись.

Вероятно, она, как обычно, решила спуститься ко мне. Захватила хлеба и сыра. Накинула на плечи шаль. Тяжело ступая, добралась на ощупь до двери. В окна светила луна, и фонарь ей не понадобился.

Она кричала так пронзительно, как будто боль уже продиралась сквозь ее кости и жилы. Отшатнулась и бросилась бежать. Я кинулся за ней. Только бы она не упала! Только бы благополучно добралась до верхней площадки. Но я опоздал. Она споткнулась. Она задыхалась от рыданий, и слезы застилали ей глаза. Она не различала ступенек, ничего не видела перед собой. Потеряв равновесие, рухнула головой вперед, на живот. Я пытался ей помочь. Она отшатнулась, как безумная. А когда невзначай коснулась моего голого плеча, то зашлась криком. Ибо сорочка моя осталась в библиотеке, на полу, у проклятого стола. Мне все же удалось взять ее на руки и отнести наверх. Уже на лестнице я почувствовал, что ее длинная полотняная рубашка намочена, а Мадлен, както вытянувшись, болезненно застонала. У нее отошли воды. А это первые схватки. Я положил ее поверх одеяла и увидел на своих руках кровь...

То, что произошло дальше, будет ночь за ночью возвращаться ко мне неизбывным кошмаром. Моя жена истекала кровью, и остановить эту кровь не было никакой возможности. На шум прибежала экономка, мадам Шарли, а с ней и мэтр Бонне. Послали за акушеркой. Мелькали свечи, звенела посуда, раздавались голоса. Прибежал и святой отец. Но я почти ничего не слышал. Я сжимал руку Мадлен и не сводил глаз с бледного, залитого потом и слезами лица. Откуда-то из угла испуганно закричала Мария. Женский голос что-то успокаивающе шептал. Девочка хныкала. Кто-то бросил мне сорочку с назидательным советом одеться. Кажется, мадам Шарли... Потом меня попытались выдворить из комнаты, но я уперся. Я же изучал медицину, я могу помочь своей жене. Я хочу быть с ней рядом! Я не оставлю ее. Жар, чад, суматоха. Мадлен кричит. Кричит страшно, пронзительно, иногда хрипит и даже воет. Мэтр Бонне говорит, что положение ребенка неправильное, что придется, вероятно, наложить щипцы... Между схватками Мадлен смотрит на меня. В ее глазах упрек. Зрачки расширены. Прядки на лбу и на висках намочены. Я не пытаюсь оправдаться, только отчаянно трясу головой. Нет, Мадлен, нет! Это не так!.. Как ей это объяснить? Как вымолить прощение? Но тут она стискивает зубы, закидывает голову, пытается сдержаться, но из груди вырывается стон... Мэтр Бонне требует горячей воды. Я бегу вниз. Сделать для нее хотя бы это. Больше я ничем не могу ей помочь.

Нет на свете наказания страшней, нет пытки мучительней, чем страдания того, кого любишь. Сам готов принять эту муку, но тебе дано лишь изнывать от бессилия. Любимое

существо истекает кровью, а ты только сжимаешь кулаки и кусаешь губы. Мэтр Бонне дал ей настойку из маковых зерен, и она впала в забытие. Кровотечение не прекратилось. Бонне торопит с наложением шипцов, чтобы извлечь ребенка. В то, что он жив, никто уже не верит. А мне уже все равно. Этот ребенок убивал ее, разрывал изнутри. Я почти ненавидел его. Господи, прости мне это отчаяние, прости это безумие!

Когда извлекли шипцы, в их пасти была голова моего сына. Он был мертв. Крошечное тельце посинело. Мадлен затихла и даже не стонала. Бонне кричит, что нужен лед. Я снова бегу вниз, рискуя свернуть себе шею, чтобы принести из подвала скользкий, прозрачный брусок. Один кожаный бурдюк со льдом у Мадлен на животе, два других по бокам. Акушерка не успевает менять простыни и полотенца. Все в крови. Лицо Мадлен бледнее снега. Я осторожно обтер ее лоб. Внезапно кровотечение прекратилось. Акушерка шумно возблагодарила Бога. Бонне был мрачен. Вдруг Мадлен открыла глаза. Ясные, без тени страдания или страха. Окинула взглядом всех, потом увидела меня.

– Я здесь, девочка моя, здесь, с тобой. Я всегда буду с тобой. Она протянула дрожащую руку к моему лицу, погладила по щеке.

– Я... тебя... Я тебя... ненавижу, – чуть слышно шепчет она. – Будь ты проклят...

Это были ее последние слова. Она вздохнула и затихла. Я ждал, что она снова вздохнет, что грудь ее поднимется, губы дрогнут, она откроет глаза и что-нибудь скажет, пусть даже проклянет опять. Но Мадлен лежала тихо, будто затаилась. Я позвал ее. Сначала негромко, боялся потревожить. А вдруг она задремала? Она же так измучилась, бедняжка. И неожиданно заснула. Так бывает. Неожиданно проваливаешься в небытие, а потом возвращаешься, и сил хватает на то, чтобы все начать сначала. Спасительная передышка. Она не ответила на призыв. Тогда я позвал ее еще раз и даже потряс за плечо. Она опять не ответила. Голова мотнулась на подушке. Страшная догадка холодом ползла по спине, нависала тенью. Я знал ответ, но отвергал его. Я не желал оборачиваться к тому темному, страшному, что стояло за спиной. Мне казалось, что если я не взгляну в ту сторону, если сделаю вид, что не вижу, то тень рассеется. Надо только убедить Мадлен прекратить эту игру, остановить эту грустную шутку.

– Мадлен!.. Я уже кричал и немилосердно встряхивал ее, требуя повиновения и ответа. Она моя жена! А долг жены повиноваться мужу. Почему же она молчит? Кто-то коснулся моего плеча. Епископ.

– Не надо, сынок. Она не слышит. Я дернулся, скидывая руку. – Это неправильно, неправильно. Господь этого не допустит! Я не верю! Она здесь. Она просто устала. Я разбудю ее.

И снова звал ее. Но она не слышала меня. Уже не слышала. Мадлен была далеко. Она уже брела где-то по лунной дороге, босая, неуязвимая, и несла на руках нашего сына. Малыш так же безмятежно дремал на ее груди, как прежде дремал в ее чреве. Он не успел испугаться.

Акушерка положила тельце ребенка рядом с матерью. Я смотрел на них в немом отрицании. Их больше не было. Только две безжизненные скорлупки. Мадлен напоминала восковую фигурку. Обескровленная, пустая. На личике страдальческий упрек. За что?.. Рука ее остывала. Она уходила от меня. Глаза мутнели, подергивались дымкой.

Если бы отец Мартин задержался тогда чуть дольше... Если бы он поговорил со мной... Он бы нашел нужные слова, не позволил бы мне соскользнуть в пропасть и утратить разум. Он всегда умел находить самые невероятные оправдания для Промысла Божия, объясняя страдания и болезни неведомым планом, во имя которого мы все обречены на скитания и муки в этой юдоли слез. Он разделил бы мою скорбь, взвалил бы ношу на свою худую, согбенную спину. Он шел бы со мной по той же дороге, что устлана слезами и покаянным стенанием. Обдирал бы кожу терниями, разбивал бы ступни о камни, глотал бы горькую пыль... Но отец Мартин вынужден был уйти: он спешил навстречу гостье. Знатная дама пребывала в дурном расположении духа.

Я слышал грохот колес. И все вспомнил. Ее белое равнодушное лицо. Капризный, высокомерный рот. Жадные руки. Это она убила Мадлен! Это она убила моего сына!

Глава 9

Все последующие дни она в поте лица своего возделывала землю, возвращая тернии и волчьи: вдохновенно и безупречно играла в покаяние. Приняла епитимью из рук епископа Парижского. Совершила паломничество в аббатство Руамон, исповедалась и пожертвовала тысячу ливидоров на нужды братства лазаристов, нанесла визит папскому легату, прошла босыми ногами по плитам храма Святой Женеьевы и выстояла на коленях многочасовой «Requiem aeternam dona eis, Domine»¹⁰, сопровождая каждый свой шаг звоном серебра и меди, окруженная свитой недужных, золотушных, воющих, стенающих и непомерно жадных. Казначей некоторое время спустя представил ей подробный отчет всех произведенных ею пожертвований, отчего герцогиня болезненно поморщилась. Ряд цифр, аккуратно выведенных, разделенных на столбцы, обоснованных, вызывал у нее странную презрительную усмешку. Будто в итоговой сумме заключалась стоимость ее собственной души. За эти деньги колеса ее кареты тщательно отмыли и заново покрыли лаком. Она почти не вспоминала о нем, виновнике всех этих вынужденных мистерий, краем памяти время от времени касаясь собственных слов о воде и куске хлеба для преступника, как язык касается расшатанного зуба, который не болит, но присутствует среди плотно и верно служащих собратьев, и так же кривила рот, как если бы речь и в самом деле шла о больном зубе. Самым быстрым и простым решением было бы этот зуб вырвать. Покончить с ним разом, а не раскачивать до воспаления и кровоточивости, как делала это в раннем детстве. Но в те юные годы предметом ее забав были зубы младенческие, без корня, выпадавшие без усилий и легко заменяемые. Если же подобную операцию проделать сейчас, то заменить выбитый или сломанный зуб уже не удастся. В ряду жемчужных стражей образуется дыра, которая обезобразит самый безупречный рот. Со смертью Геро, как бы ни страшно было в этом признаться, образуется такая же незаживающая рана, которая, даже если ее и удастся скрыть, все равно будет напоминать о себе черным провалом. В красивом башмаке можно спрятать изуродованную ступню, в шелковой перчатке можно набить конским волосом отсутствующий палец, но как срастить рану в собственной памяти, какой там изобрести протез?

* * *

Тюремщик приносит мне еще один кувшин воды. И хлеба. На этот раз с сыром. Я не знаю, сколько времени прошло, ибо по-прежнему отвергаю настоящее. Все еще пребываю в прошлом. Восковая бледность Мадлен, посиневший младенец. Память вновь и вновь возвращает страшные образы. Я жажду смерти.

Выпиваю воды, но еды не касаюсь. От изнеможения погружаюсь в дремоту. Или лишаюсь чувств. Не знаю. Только мысли исчезают, растворяются, становится темно. Открываю глаза там же, на соломе, но что-то изменилось. Кто-то набросил на меня плащ. Проявил милосердие. Зачем? Но плащ теплый, я кутаюсь в него. Немного согрелся, и мысли стали ровнее, не вертелись ярмарочным колесом, не били наотмашь. Лицо Мадлен не исчезло, но как-то смягчилось. Она уже не проклиняет, а смотрит с тихим сожалением, как смотрит Богоматерь с алтарных полотен. За ней суровым мучеником возникает отец Мартин, укоризненно качает головой. Образы множатся, отражаются в зеркалах. И вдруг что-то, прежде неразличимое, привлекает мое внимание. Боже милостивый, Мария! Там осталась Мария. Когда началась вся эта суматоха, мадам Шарли унесла ее к себе. Девочка была так напугана. А потом все про нее забыли. Я забыл про нее. Мария!

¹⁰ Покой вечный подай ему, Господи... (лат.).

Я идиот. Какой же я идиот! В отчаянии бьюсь о каменную стену. Что же я наделал! Я оставил ее совсем одну. Бросил свою дочь, отправился мстить. Идиот! Тебя отправят на виселицу, а ее – в приют. А из приюта? Что будет с ней? Кто ее защитит? Я погубил ее. Я всех погубил. Обхватываю голову руками, с губ срывается стон. К мукам воспоминаний прибавляются угрызания совести. И так день за днем, час за часом. А смерти нет.

Промедление я объясняю тем, что герцогиня не желает мне быстрого избавления, наказывая мукой неопределенности. Давно известно, что неизвестность и ожидание мучительней самой казни. Узник мечется между отчаянием и надеждой. То возносится в своих мечтах к вершине милосердия, то срывается в бездну. Вероятно, на эту пытку обрекли и меня. Я и в самом деле начинаю надеяться, даже ищу какой-то выход. Мне нужно выбраться отсюда, спасти ради дочери. Что, если герцогиня сжалится надо мной? Если меня до сих пор не убили, значит, ее гнев не настолько страшен. А за эти дни она успела остыть. Но эти слабые проблески тут же сменяются беспросветным отчаянием. Как ты смеешь надеяться? Ты – убийца и прелюбодей. Ты заслуживаешь смерти. И я хочу смерти. Я ее призываю. Я готов разбить голову о стену, но самоубийство – смертный грех. Если я обреку себя на гибель, то по ту сторону смерти мне не встретить Мадлен, не вымолить у нее прощения. Я должен ждать палача. Он мой спаситель.

Наконец засов лязгнул. Я не вздрагиваю, ожидая тюремщика с водой и скудным угощением. Но входят двое, а тюремщик, тот, седой, остается за дверью. Сердце, совершив прыжок, бьется часто-часто. Вот оно! Двое молодцов в шерстяных куртках. Палач и его подручный. Сейчас меня отправят на виселицу или выполняют приговор прямо здесь. Один из них прижмет меня к полу, а другой набросит петлю на шею. Главное – не сопротивляться. Не умножать боль. Но никаких петель на меня не набрасывают. Напротив, меня освобождают от оков и ведут наверх. Значит, все-таки виселица. Или Сена. Они отвезут меня на берег. Ну что ж, перед смертью я вновь увижу небо, пусть даже ночное, вдохну речной воздух. Меня толкают в карету, но я успеваю взглянуть вверх. Звезды... небесные огни, маяки для блуждающих душ. Где-то там Мадлен, на звездных дорогах. Я найду ее.

Меня кутают в плащ и до подбородка натягивают капюшон. К чему такие предосторожности? Экипаж слишком роскошен для осужденного. Куда меня везут? По звукам я определяю, что мы выехали из города. Следовательно, меня прикончат где-то в лесу. Веет свежестью. Каким сладким бывает воздух... Я прислушиваюсь, в любую минуту ожидая окрика кучера и стука опустившейся подножки. Но лошади продолжают идти рысью. Вскоре я слышу, как подковы грохочут по мостовой. Но недолго. Экипаж замедляет ход. Меня выталкивают наружу и затем снова ведут куда-то вниз. Другая тюрьма? Зачем? Вновь надевают цепи. Этот каземат суше и теплее. А вместо соломы – старый тюфяк. И плащ мне оставили. И даже маленький светильник. Я сажусь на тюфяк, обхватываю колени руками.

Странно все это. Я жив. Почему? Я для чего-то нужен? Для чего? Выдать меня за кого-то другого? Обвинить в заговоре? Господи, ну какой из меня заговорщик! Заговор – привилегия благородной крови. А если... если это то, о чем я подумал? Нет... Нет! Лучше в заговорщики. В еретики. Не хочу думать об этом... Мне приносят поесть. Меню изменилось к лучшему. Вместо воды легкое вино, на медном подносе ломоть холодной телятины, хлеб и немного овощей. Надо бы отказаться. Проявить твердость. Но я голоден. За все это время я съел только пару кусков черствого хлеба, и мой желудок взывает к благоразумию. Я вновь поддаюсь слабости. Она убила мою жену, а я ем ее хлеб. Мадлен, прости меня... Я даже не знаю, где ее могила и где похоронен мой сын. Вряд ли ее родители взяли на себя эту заботу.

Они отреклись от нее, едва узнав, что их дочь беременна. Я помню, как Мадлен, стоя на коленях перед матерью, простила к ней руки. Отец даже не пожелал взглянуть на согрешившую дочь. Старая служанка вынесла узел с вещами. Я взял Мадлен за руку, и мы вместе вышли на улицу, под дождь. Мы брели под ледяными струями от улицы Сен-Дени до церкви

Св. Стефана, долго стояли там, прежде чем я решился войти и во всем признаться епископу. У меня не было ни семьи, ни дома. Только маленькая каморка в особняке моего благодетеля. А теперь со мной была Мадлен, и скоро должен был появиться ребенок. Отец Мартин только качал головой, слушая мой рассказ, сурово косился на продрогшую девушку. Потом отвел нас в часовню и обвенчал. Мадлен стала моей женой. Нам отвели две комнаты под самой крышей. Отец Мартин назначил мне жалование. Мы научились обходиться малым. Родилась Мария. Проклятия желчной мадам Аджани не сбылись. Все как-то уладилось, утряслось, и мы могли бы назвать себя счастливыми. Так, по крайней мере, казалось.

От вина меня тянет в сон, я засыпаю. Но и во сне продолжаю думать, перебирать, перебрасывать события. Продолжаю обвинять и молить о прощении. По щекам текут слезы. Я просыпаюсь, вновь засыпаю. Прежде я будто окаменел от скорби, ничего не чувствовал, теперь скорбь исходит слезами. Мне становится легче. Я могу оплакивать их. Пытаюсь молиться, но не получается. В Бога я больше не верю. Потому что Бог, которого святые отцы прочат нам в Спасители, и Бог, кто посулил нам вечное блаженство, не мог этого допустить. Разве мало Он слышал молитв? Разве я один такой? Его день и ночь молят о помощи. Разве не молилась Мадлен, корчась в родовых муках? Разве не просила Его за сына? А мой приемный отец? Разве он не отдал жизнь свою во имя Его? Как же тогда милостивый Господь мог допустить, чтобы они, безвинные, умерли такой страшной смертью? В чем был их грех? Бог не вмешивается. Наши страдания Ему безразличны. Он глух и слеп. Или Его вовсе не существует. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет»¹¹. Богохульство! Вот до чего я дошел.

Пусть Он создал этот мир, но от наших забот Он устранился. Кукольник, вырезающий из дерева кукол, не следит за судьбой каждой из них. Он продает их на рынке и забывает о своих поделках. Также и Бог. Можно сколько угодно молить Его о свободе или о помощи, Ему нет до этого дела. Для Него это слишком мелко. Или неинтересно. Им с самого начала все так было задумано. Одни радуются, другие страдают. Одни господа, другие рабы. Надеяться не на что. Никто не услышит.

Я опять теряю счет дням. Да и не тревожусь об этом. Если герцогиня обрекла меня на смерть в этом узилище, то какой смысл беспокоиться. Лучше и вовсе не знать. Я все равно скоро умру. Несмотря на этот тюфяк, теплый плащ и кусок жирного мяса.

По прошествии четырех обедов мне приносят воды. Не для того, чтобы я мог утолить жажду, а чтобы умыться. В большой лохани. Еще одна уступка слабостям плоти. Какое наслаждение! Я погружаю в воду руки и смываю с лица пот и давно засохшую кровь. Это все еще кровь Мадлен... Я пытался умываться остатками той воды, что мне приносили, но ее было слишком мало. К тому же меня постоянно мучила жажда. Похоже на лихорадку. Озноб и жар. А сейчас воды было много. Хватило, чтобы смыть всю грязь. Окунуться бы с головой... Полотенце мне подает та самая придворная дама, чье лицо мне показалось знакомым. У нее темные миндалевидные глаза. Волосы туго стянуты на затылке. Я знал ее прежде, в той прошлой жизни, но вспомнить не могу. Но если она здесь, это предвещает перемены. Приговор вынесен? Меня ведут наверх. Но предварительно связывают руки за спиной. Избавление близко.

Я снова ошибся. Ожидал, что меня выведут во двор. Или отведут на конюшню. Там сподручней перекинуть веревку через поперечную балку. А вместо лестницы водрузить приговоренного на лошадь, а потом ее увести. Опора исчезнет, и петля затянется. Но меня ведут наверх. Предсмертная исповедь? Мне позволят священника? Но меня ждет не священник, меня ждет она. Стоит спиной к окну. Руки смиренно сложены. На лице грустное соучастие. Что

¹¹ Екклесиаст 4:1.

это? Сожалеет, что вынуждена подписать приговор? *Dura lex, sed lex*?¹² Меня ставят посреди комнаты на колени, и она взмахом руки отпускает слуг. Разговор затянется. Но зачем? Краем глаза я вижу разноцветные шпалеры со сценами охоты, под ногами восточный узор. Позолоченные многорукие светильники. Тяжелые портьеры. Чего она добивается? Извлекла из ада, чтобы показать рай? Поздно, ваше высочество, поздно. Меня уже не ранить.

¹² Закон суров, но это закон. (лат.).

Глава 10

Она испытывала почти жалость. Ему, несомненно, больно, ибо тот, кто наложил пути, был усерден. Локти пленника стянуты ремнями, а запястья перекручены так туго, что пальцы, скорей всего, уже потеряли чувствительность. Рукав побуревшей сорочки оторван по шву. Это произошло еще две недели назад, во время того отвратительного инцидента, о котором она не вспоминала без дрожи. В эту прореху на его плече проглядывал лоскут кожи, той самой теплой и бархатистой кожи, которой она коснулась под каменным сводом скриптория. Вид этого лоскутка, на удивление нетронутого, не обезображенного ни кровоподтеком, ни рубцом, заставил ее слегка поежиться. И уже помимо воли ее воображение устремилось дальше, под грязную оболочку, которая сейчас скрывала подлинную, незамутненную ценность. Даже замазанный болотной жижей шедевр Праксителя не утратит своей красоты. Статуэтку из слоновой кости можно вывалить в золь, но ее очень легко отмыть и водрузить на прежнее место. Он по-прежнему был желанен. Ее вторая чувственная половина одерживала верх. Итак, решено. Он не умрет. Или умрет, но позже, после того как наскучит, станет бесполезен и назойлив, приобретет сходство с себе подобными. Но сейчас он, даже в этом жалком состоянии, еще более притягателен, ибо опасен. Его предстоит приручить. Сломить его волю. А затем обратить в образцового подданного, выкупить у добродетели эту невинную душу, заставить его забыть и жену, и ребенка, и отца. Следует сыграть с ним в милосердие, проявить снисходительность, ибо силе он может противостоять, а вот ласке, шелковой простыне и копченой грудинке вряд ли.

И тогда она начала говорить, говорить почти нежно, со снисходительностью божества:

– Мне жаль, мне действительно жаль. Видит Бог, то сожаление, что я испытываю, есть искренний и светлый порыв. С тех пор, как имели место все эти несчастья, не было минуты, чтобы я не возносила молитв раскаяния. Бедный мальчик, ты пострадал безвинно. Стал жертвой обстоятельств, и я не держу зла за то, что в час скорби ты пытался нарушить заповедь. Господь заповедовал нам прощать. «Не убий!» – сказал Он Моисею и запечатлел слова свои на священной скрижали. Только Господу дано решать, кому жить, а кому окончить свой век. Но ты был в отчаянии. Ты был глух и слеп, боль оглушила тебя. Ты искал того, кто был виновен. Твой рассудок молчал и не мог тебе подсказать правильное решение, не мог направить твой гнев на подлинную первопричину – на судьбу, на нелепую случайность, на дьявола, в конце концов. На нелепость и несправедность этого мира. Мир, сотворенный Господом, к сожалению, полон несправедливости, он весь состоит из подобных роковых случайностей, из роковых совпадений, будто кто-то очень могущественный бросает кости. Но люди не желают принять эту истину со смирением. Этой безраздельной власти слепого рока они противопоставляют избранного ими виновника. Люди всегда находят врагов. Потому что так легче и так проще все объяснить. В противном случае им бы пришлось признать свою полную зависимость от брошенных небесных костей и от выпавшего на них числа. В случившемся никто не виноват. Я не желала зла ни тебе, ни твоей жене. А что касается отца Мартина, то я искренне пыталась ему содействовать, поддерживала все его богоугодные начинания, но, как видно, дьявол усмотрел в этом союзе нешуточную угрозу. Сотворил из нас обоих орудие злого рока. Тебя толкнул на убийство, а несчастного праведника бросил под колеса. И убийцей стала я. Пусть невольным, случайным, но все же убийцей. И, поверь мне, случайность этой смерти отнюдь не облегчает той тяжести, которая лежит на моем сердце. Я никогда себе этого не прощу, не замолю и не искуплю. Я буду вечно каяться и просить у Господа прощения. Но ты сам, мой мальчик, едва не стал убийцей. Пусть твое деяние не удалось, но по закону ты должен был понести наказание. Пожелай я искать правосудия, ты был бы осужден и

повешен. Но я не стала искать защиты у королевских судей, не стала взывать к богине возмездия. Я решила подарить тебе жизнь.

* * *

Герцогиня вновь изучает меня. Обходит вокруг, будто проверяет, достаточно ли крепко связаны руки, не вырвусь ли, не повторю ли прежнее безумство. Не тревожьтесь, ваше высочество, локти стянуты так, что в плечах вывернулись суставы. Кисти рук онемели. За эти дни я ослабел, мне ремни не порвать. Да и незачем. Пусто внутри, даже ненависти не осталось. Теперь она разглядывает мое лицо. Как видно, мне потому и принесли воду. Чтобы выглядел пристойно. Если бы мог, я бы усмехнулся. До пристойности тут далеко. Вид у меня, как у бродяги с большой дороги. Я все еще в той сорочке, на которой кровь Мадлен, вонючей и грязной. Волосы свалились от пота. На подбородке щетина. Помимо воли я чувствую себя неловко. Отвратительное, должно быть, зрелище. И жалкое. Что ж, это сократит время ее раздумий. Она преисполнится отвращения и отошлет меня прочь – в вечность. Но она медлит. Склоняет голову на бок. Глаза ее странно блестят. Она как будто в нерешительности. Не знает, что предпринять? Выбирает казнь? Прикидывает, как вынудить преступника заплатить наибольшую цену?

Я опускаю голову и разглядываю ковер. Скорей бы все кончилось... Я устал, мне больно. Со связанными руками мне не так просто удерживать равновесие. В голове у меня мутится. В любую минуту могу завалиться на бок.

Слов ее я почти не слышу. Слышу только ее голос. Вкрадчивый, скользкий, с едва различимым шелестом. Будто ветер в листве. Предвестник бури. Подбирается, манит. Она говорит о Мадлен. Она сожалеет. Ее слова падают в пустоту ума и там всходят, распускаются, как ядовитые цветы. Она пытается как-то все объяснить, утверждает, что виной всему неведомый план Божий, судьба. И еще, что она готова меня простить! Что она сохранит мне жизнь! Она так великодушна, что готова поступиться своей гордыней.

– Зачем? – срывается с моих губ. – Ты сам знаешь. Я не понимаю. Вернее, не желаю понять. Не хочу. Я гоню эту догадку, которая не в первый раз смущает мой разум.

Нет!.. Я забываю о боли в спине, о ломоте в руках, о тяжести, что клонит мою голову, и смотрю на нее в упор. Спутанные, жесткие волосы лезут в глаза. Господи, да кто же это передо мной? Кто?! Человеческое ли существо или отпрыск адовой бездны? Часть ее лица скрыта тенью, а другая слепит мраморной белизной. Рот ее кривится, губы приоткрываются. Мне становится душно. И страшно от этого неподвижного взгляда, от прозрачной белизны кожи. Она касается моего лица, вынуждая вновь поднять голову. Мои попытки освободиться ни к чему не приводят. Ремни впиваются еще глубже, режут кожу, ломают кости.

– Лучше умереть... Я задыхаюсь от собственного бессилия. Внутри огонь, мучительный водоворот. Господи, где же Ты?

Она жадно наблюдает, даже облизывает губы. Снова вынуждает смотреть вверх. От ее прикосновений я содрогаюсь.

– Тебе нужно отдохнуть, – ласково говорит она. – О прочем мы поговорим завтра.

Глава 11

Он еще далек от того, чтобы принять свою участь и смириться. Он еще, как только что изловленный дикий и прекрасный зверь, будет грызть и расшатывать свою клетку, пока не поймет, что стальные прутья только ломают ему зубы и обдирают в кровь рот, что покорность будет вознаграждена вкусным дымящимся куском мяса и теплой мягкой подстилкой, а упрямство и строптивость обернутся горящими на коже рубцами. Но он это непременно поймет. Он поймет! Он все же человек, а не зверь. И одарен всеми преимуществами и недостатками Адамова сына.

Я знаю, что я для нее – вещь. Не человек, не мужчина, не любовник. Только вещь. У нее много вещей, и я одна из них.

Меня снова ведут вниз. Руки связаны за спиной. Боль в вывороченных суставах, кисти занемели. Со мной высокий рыжий парень и та темноволосая придворная дама, лицо которой мне кажется знакомым. Она несколько раз как-то тревожно оглядывается, когда я второй или третий раз спотыкаюсь. Но приводят меня не в каземат, а в большое помещение рядом с кухней. Там стоит большой стол, скамьи вдоль стен, несколько табуретов, ларь, кухонная утварь. Я догадываюсь, что это людская. Двое слуг закатывают в кухонную дверь бочонок. Кухарка перебирает в углу овощи. Поминутно хлопает дверь. Треск поленьев, голоса, перебранка. Придворная дама делает знак рыжему парню. И он освобождает мне руки. Ему это удастся не сразу, он неловко дергает, и я морщусь от боли.

– Осторожно, – говорит придворная дама. В глазах ее все та же тревога.

Вместе с ремнями парень снимает с меня одежду, до последней нитки, все эти жалкие, грязные лохмотья. И я стою посреди комнаты, среди спящих вокруг людей совершенно голый. Странно, но я не чувствую стыда. Будто деревянный. Или неживой. Толстая кухарка бросает на меня любопытный взгляд, и придворная дама не сводит глаз, но мне это безразлично. Другие слуги и вовсе в мою сторону не смотрят. Кто я? Всего лишь вещь. Герцогиня обзавелась безделушкой, а им эту безделушку велено отмыть. Рыжий парень втаскивает большую лохань. В очаге над огнем висит огромный медный котел, и парень наполняет лохань водой. За кухонной дверью несколько любопытных голов, но придворная дама умиряет их одним взглядом. Парень берет меня выше локтя и подталкивает к лохани. Я подчиняюсь. Вещь всегда поступает так, как ей велят. Но оказаться в теплой воде приятно. Я неожиданно чувствую слабость и закрываю глаза. Какое блаженство... Внутри раскручивается какая-то жесткая стальная пружина. Я еще жив, и кровь струится по жилам, и грудь вздымается. С кожи сходит отвратительный грязно-бурый налет. Парень выливает ковш горячей воды мне на голову и ловко орудует мылом. Пена приятно пахнет миндалем. Ранка на виске пощипывает. Впервые другой человек делает за меня то, что я привык делать сам. Более явственно чувствую себя вещью, неодушевленным предметом. Меня поднимают, опускают, переворачивают. Парень действует умело и быстро. Приносит еще воды, разбавляет холодной. Пар поднимается к потолку, к закопченным балкам. Наконец он опрокидывает на меня последний ковш. И я снова посреди комнаты, голый, но уже розовый и блестящий. Вещь приобретает товарный вид. Мне становится холодно, но парень набрасывает на меня простыню. Ее минуту назад принесла пожилая служанка. Парень обтирает меня этой простыней, как взмыленного коня. Задевает кровоподтеки, я снова вздрагиваю.

Рядом с придворной дамой появляется следующий персонаж. Худой, сутулый, весь в черном. У него лицо цвета пергамента, глубокие складки у рта. Глаза утоплены под надбровные дуги, но горят насмешливо и ярко. Это не лакей, скорей всего, лекарь. Черная хламида, на плече кожаная сумка с принадлежностями. Меня в третий раз в первоизданном виде выводят

на свет. Теперь я предмет для научных изысканий. Лекарь оттягивает мне веки, заглядывает в рот, в уши, пробует густоту и крепость волос. У него проворные, жесткие пальцы. Он действует ими как хорошо отлаженным инструментом. Исследует меня под мышками и в паху. Не вздуты ли узлы. Первый чумной признак. Нет ли признаков неаполитанской хвори. Я пытаюсь отшатнуться, но рыжий парень держит меня за локти. Вещь должна быть безупречна. Только после этого лекарь осматривает кровоподтеки на моих руках, ссадины на ступнях и коленях. Выудив из кожаного мешка баночку с бальзамом, смазывает вспухшие синюшные пятна. У бальзама терпкий травяной запах. Арника, зверобой и еще, кажется, абрикосовое масло. Прочих ингредиентов угадать не могу. Лекарь, оставив банку, – в сторону парня:

– Утром смазать еще раз. – Затем уже придворной даме: – Хороший ужин, и пусть поспит.

Забрасывает на плечо сумку и выходит. Приближается придворная дама. У нее глаза чуть раскосые, блестят все так же тревожно. В них что-то очень живое, беспокойное. Она заглядывает мне в лицо.

– Что бы ты хотел на ужин? – тихо спрашивает она. Я даже не сразу понимаю, что она обращается ко мне. Почти оглядываюсь, чтобы найти того, кому это предназначено.

– Я не голоден, – отвечаю. – Тебе нужно поесть, – настаивает она. И делает знак рыжему парню. Придворная дама права – мне нужно поесть. Я даже вспомнил ее имя – Анастаси. Вспомнил, где прежде видел ее: в нашей больнице Св. Стефана. Сам привел ее туда. Ей стало дурно на улице, она истекала кровью. Последствия неудачного вмешательства и удаления плода. Теперь она пытается рассчитаться со мной за услугу. Во всяком случае, она единственная, кто признает во мне существо одушевленное. Даже для окружающих слуг я только господская прихоть, ручной попугай. Им чрезвычайно любопытно. Они глазуют на меня с интересом, строят догадки. Что же это за новое приобретение? Но ужин мне подают изысканный и, к счастью, позволяют одеться. Голода я не испытываю, но по настоянию Анастаси наливаю вина, белое бордо, и это сразу оказывает действие. Засосало под ложечкой. Блюд много, но я ограничиваюсь чашкой бульона и цыпленком под соусом. На сладкое – ложечка айвового варенья. Пробую и тут же жалею об этом. Любимое лакомство Мадлен... Придворная дама уговаривает попробовать что-то еще, фазанью грудинку или фаршированного бекаса, но я отказываюсь. Тогда она говорит, что отведет меня в комнату, где я смогу отдохнуть. Первое предписание врача выполнено, за ним следует второе.

Комната роскошная. Стены обиты бархатом, на окнах тяжелые портьеры, кровать под шелковым балдахинном. Я никогда ничего подобного не видел, даже покои епископа отличались монашеским аскетизмом, и тем более я никогда в таких апартаментах не жил, но я не обескуражен. Скорее удивлен. Эта роскошь угнетает. Давит, нависает, как скалистый отрог. Но постель выглядит очень свежей, уголок покрывала откинут. Я вновь ловлю себя на предательской слабости. После влажной соломы и старого тюфяка эта шелковая купель предстает, как видение рая, как ложе божественного отдохновения, на которое я спешу упасть, тем более, что после пережитых волнений, унижений и выпитого вина у меня подкашиваются ноги. Я едва сдерживаюсь, чтоб не укрыться с головой, не скрыться в темном и теплом убежище и не замереть. Пусть даже эта кровать часть враждебного мира, пусть она принадлежит врагу, я найду здесь временный покой.

Придворная дама оставляет на столе свечу и выходит. Рыжий парень остается за дверью. Щелкает замок. Скрипит ключ. Тюрьма. С ковром под ногами, со шпалерами на стенах, с серебряным подсвечником, но все же тюрьма. Чтобы удостовериться в этом, я покидаю уже нагретое лежбище и подхожу к окну. Знаю, что бежать бессмысленно, знаю, что некуда, но не могу избавиться от соблазна. Эти мысли стали приходить ко мне сразу же, едва лишь я оказался в людской. Что, если попробовать бежать? Здесь окно. Должно быть невысоко, ибо по лестнице мы поднялись всего лишь на один пролет. Можно спуститься по водосточной трубе или связать простыни в жгут. Однажды, много лет назад, мне удалось выбраться через слухо-

вое окно. Только если... Мое опасение сбывается – на окне решетка. Петлистая, в завитушках. За одну ночь с ней не справиться. Не выломать и не распилить. Надо подумать. Я закрываю окно и возвращаюсь в постель. Желтолицый знахарь прописал мне сон.

Я действительно засыпаю. Едва лишь моя щека касается расшитой подушки. Держался все это время судорожным усилием воли, будто сами суставы давно размягчились, но для вящей прочности были стянуты скобой и держались на невидимом стержне. Когда же лег, надобность в этом стержне отпала, и теперь я – только грудa мягких, трепещущих обломков. Проваливаюсь в темноту, падаю долго, но, оказавшись на дне, вздрагиваю. Мне кажется, что в комнате кто-то есть. Кто-то крадется. Свеча догорела, и только луна тянет свои тонкие серебряные пальцы. Сердце колотится, но никого нет. Все так же тихо. Я ложусь на бок, под щекой – израненное, в темных пятнах, предплечье. Слышу, как кровь шумно ударяет в стенки сосудов. Жизнь... Жизнь продолжается. Я жив. Уснуть во второй раз получается не сразу. Мешают мысли. Вновь обвинения, сожаления, упреки. Ум склонен продолжить игру. Самое худшее уже свершилось, а он час за часом предлагает новые варианты. Разыгрывает несостоявшиеся ходы, подсказывает реплики. Как будто это что-то меняет! Изменить уже ничего нельзя, но ум перемальвает, тасует, вытягивает все новые, так и несданные карты. Я пытаюсь остановить очередную вариацию прошлых событий. Следует подумать о настоящем.

Итак, я жив. Казнь откладывается или отменяется вовсе. Герцогиня недвусмысленно дала мне понять о своих намерениях, и этого не изменить. Что же делать? Мария... Она – единственная цель и смысл. Все, что у меня осталось, мой долг – это она. Искра пламени в моем умершем сердце. Найти ее и защитить. Мне нельзя думать о смерти. Это роскошь, которую я не могу себе позволить. Я должен жить. Страсть герцогини продлится недолго. День, два, и она насытится. Я стану ей безразличен. Ее страсть разгорелась из каприза, который она не сразу смогла удовлетворить. Желание обратилось в неутолимую жажду. Теперь она получит желаемое и быстро утолит голод. Кто я такой, чтобы занимать ее высочество дольше, чем закончатся сутки? Она разрушила мою жизнь. Пусть вернет мою дочь. Пусть заплатит. Надо только набраться сил и назвать цену. Это самое трудное – поставить ей условие, все равно что зашвырнуть камень на Олимп. Я боюсь оцепенеть от ее взгляда, холодного, из-под ровных век, боюсь утратить дар речи. Но у меня нет выхода, я должен решиться. В противном случае это будет еще одно предательство.

Ум открывает новую игрушку. Покинув прошлое, перекатывается в будущее. Берется за ту же лотерею. Что сделает она... что сделаю я... Что скажет она... что скажу я. Как повернется, как посмотрит, как повысит голос... Я уже тысячу раз воображал, как произнесу свое требование, и воображаю еще раз. В тысяче возможных оттенков: шепотом, с мольбой, с вызовом, с угрозой, в первую же минуту, спустя четверть часа, в ответ на какую-то реплику, после долгого молчания, поддавшись на уговоры, и прочее, прочее. Был даже такой вариант, где я не произношу ни слова, а лишь безропотно подчиняюсь. Этот ход выглядит наиболее привлекательным. Примириться и сдаться. Дьяволу понравится.

Окончательно измучившись, засыпаю. Просыпаюсь по собственному почину, никто не будил. Портьеры все так же опущены, и только в узкую прорезь сочится свет. Сначала мне кажется, что я все еще там, внизу, ибо полумрак в темнице не рассеивался с наступлением утра, но удобство постели возвращает меня к действительности. Судьба моя изменилась. Моя участь не смерть – бесчестье.

Вскоре появляется рыжий парень. Видимо, он уже заглядывал в комнату и осторожно покидал ее, заметив, что я еще сплю. На этот раз он так же крадучись заглядывает под полог. И встречается со мной взглядом. Тут же идет к окну и поднимает шторы. Солнце! Я жмурюсь, но тут же открываю глаза и жадно, преодолевая резь, кидаюсь в пылающий прямоугольник. Как давно я не видел солнце! Ни в первой, ни во второй темнице окон не было, а перевозили меня ночью. Меня лишили воздуха и света. Я больше двух недель пребывал в могиле. И вдруг вот

оно! Пусть исполосованное решеткой, пусть далекое, но ослепительное, щедрое. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить и не погрузить руки, голову, плечи в этот горячий столб. Рыжий парень приносит воды, а затем чашку с бульоном. Одежда – щегольской камзол из тонкого сукна, явно сшитый на дворянина, той же материи кюлоты с кружевной оторочкой и башмаки из дорогой кожи, которые оказались немного великоваты.

После завтрака из ломтика паштета и голубиноного крылышка – всем остальным я пре-небрег – мне позволено выйти в парк. Рыжий парень идет за мной следом и даже придерживает за локоть. Проще было бы посадить меня на цепь. Закрепить где-нибудь на лодыжке и отпустить без опаски бродить между деревьями. А так бедному соглядатаю приходится быть настороже. Он не отстает ни на шаг и крепко держит повыше локтя. Я не убегу. Мне некуда бежать. Даже если мне это удастся, герцогиня знает, где меня искать. Я буду там, где моя дочь. Меня немедленно схватят. И тогда мне уже нечего будет рассчитывать на помилование. Моя дочь останется сиротой. Рыжий парень может быть совершенно спокоен. Я блаженно вдыхаю утренний воздух и подставляю лицо солнцу. Милость герцогини, конечно, не лишена корысти, но я ей почти благодарен. Она позволила мне увидеть небо, прикоснуться к древесному стволу, услышать пение птиц.

Весь оставшийся день я предоставлен самому себе. Рыжий парень даже принес мне какую-то книгу, кажется, Тацита. Я пытался читать, но латинский шрифт не складывался в привычную карту мудрости. Буквы расплываются, а смысл фраз ускользает. Однако после полудня покой мой нарушен. Я слышу шум. Дверь открывается, появляется рыжий парень, за ним низенький человек с густыми черными бровями, а следом... герцогиня. Сердце замирает. Неужели она передумала ждать до вечера? Я не готов! Эта прогулка в парке лишила меня сосредоточенности. В горле комок. Я и слова не скажу. Но герцогиня не приближается, держится поодаль. А низенький человек оказывается портным. Он сноровисто принимается за дело. Снимает с меня мерки. На меня сошьют одежду? Но зачем? Краем глаза я вижу герцогиню. Она остается в стороне и наблюдает. Очень внимательно, будто перепроверяет действия портного, мысленно что-то прикидывает. На ней платье темно-серого шелка, без украшений, только плечи обнимает огромный отложной воротник. Волосы у нее высоко подняты и тщательно уложены. Шея обнажена, белая, длинная, поддерживает голову, будто аккуратный плотный бутон. Веки все так же полуопущены, но под ними нетерпение и жар. Она даже губы покусывает. Портной вслух называет цифры и вносит их в маленькую книжицу. Все заносится в таблицу, нумеруется. Я превращаюсь в набор цифр, в тщательную, методичную подборку. Меня разъяли на части, как в анатомическом театре, и каждый отрезок помечен соответствующим ярлыком. Отчего-то мне мучительно стыдно. Я чувствую себя еще более обнаженным, чем накануне, когда стоял голым посреди людской. В действительности мне не пришлось раздеваться. С меня всего лишь сняли мерки. Возможно, виной этот ее взгляд. Пронизывающий, сквозь одежду.

Длится это недолго, но из меня последовательно извлекают все собранные за ночь силы. Они выходят, а я почти валяюсь с ног. Звон в ушах. Я подбегаю к окну и жадно глотаю воздух. Там, за решеткой, простор и свет. С ветки на ветку перепархивают птицы. Качаются верхушки деревьев. Мысль о побеге уже не кажется мне такой безрассудной. Должен же быть выход. Почему мне так страшно? Меня завораживает, леденит это сияние власти. «Рабы, подчиняйтесь со всяким уважением своим хозяевам...»¹³ Так устроен мир, власть кесаря священна. Неподчинение королю – ересь, бунт. Непокорный будет предан анафеме.

Рыжий парень приносит мне обед. Запеченные в тесте голуби, фазанья грудинка и паштет. Но я не привык, есть так много мяса. Прошу ржаного хлеба и листьев салата. Рыжий парень

¹³ Первое послание Петра 2:18.

удивлен, но через какое-то время возвращается с блюдом печеных овощей, облитых сыром, и корзинкой фруктов. Глоток вина.

После обеда остаюсь один. Вновь пытаюсь заглянуть в будущее, воображаю разговор с герцогиней. Только бы не перехватило горло. Надо собраться с силами, преодолеть ее заворачивающий взгляд из-под ровной линии век. Если я этого не сделаю, Мария погибнет. Мария, моя дочь, моя бедная маленькая девочка. Где она сейчас? Не голодна ли? Плачет от страха, зовет меня или Мадлен. А рядом никого нет, чужие равнодушные лица. От воспоминаний в сердце будто вдавливают палец. Я начинаю метаться, перебегать из угла в угол. Натыкаюсь на стол, переворачиваю подвернувшийся табурет. Боль в ушибленной голени. Нет, так нельзя, я должен собраться с мыслями. Иначе ни ей, ни мне не спастись.

Я слушаю сердце, грохот в висках. Делаю несколько медленных, сосредоточенных вдохов. Именно так, как учил отец Мартин. Он бывал на Святой горе Афон и перенял у тамошних монахов кое-какие молитвенные искусства. Например, как быстро изгнать волнение и вернуть себе силы. Паломники соединяли молитву с дыханием, погружая помыслы свои в сердце. Вдыхать и чувствовать, как воздух скатывается прозрачной волной от гортани к легким, отмывает их, а затем, покидая, уносит печаль и усталость. И еще молитва. *Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam*¹⁴. Повторять слова молитвы, соизмерять их с дыханием, заполнять разум именем Бога, Его вечным присутствием. Солнечный квадрат на полу сузился до едва заметной линии, но я представляю, что солнечная нить тянется ко мне, и я вдыхаю этот свет, наполняюсь им. Солнце – это дар Божий, око Господне, сам его восход есть благословение мира, свет его дарует жизнь. Он наполняет силой и воскрешает надежду.

Я вдыхаю и наблюдаю за разбегающимся светом. Действительно становится легче. Сердце уже не колотится в ребра и спину, а переходит на размеренную, привычную рысь. Мысли замедляют свой бег и обретают законченность, как вполне удавшаяся картинка. Я чувствую решимость. Я могу сказать ей.

¹⁴ Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей... (Псалтирь 50:3)

Глава 12

Клотильда знала, что их знакомство состоялось задолго до того, как она отправилась на исповедь к отцу Мартину. Знала, что Анастаси обязана жизнью юному школяру, но кроме этого долга было что-то еще, глубоко родственное, будто эти двое происходили из одной материнской утробы. Их связывала некая схожесть в судьбе, сиротство и одиночество. Они оба знали утраты, голод и нищету, предательство и неволю. Оба учились выживать. Их обоих ради забавы, как выловленных в лесу животных, взяли в мир сытых и властных, обоих выкупили по дешевке у нужды и страданий.

* * *

Полоска на полу гаснет. День уходит. Время сумерек. Предметы утратят привычные формы, поменяют цвет. Тени начнут удлиняться, сгустятся до черноты. Я жду стука в дверь. За мной придут. Впрочем, рыжий парень – его зовут Любен – не утруждает себя церемонией вежливости. Я такой же как он, между нами нет разницы, пожалуй, его статус даже значительней. Я пока нечто промежуточное, неопределенное, невзирая на внушительный перечень костюмов, что мне в скором времени предстоит надеть. Герцогиня упомянула сукно из Антверпена, шелк из Лиона, бархат из Кордовы. Но это пока только слова, столбцы цифр в потертой книжице, а я только каприз. Любен приносит мне другую одежду. Сорочка уже не полотняная, а из батиста, на рукавах – пена кружев. Камзол с золотым шитьем. Я не могу удержаться и смотрю на Любена с удивлением. Он утвердительно кивает. Помогает одеться. Следом за ним является цирюльник, черноволосый мужчина с эспаньолкой и выпуклым лбом. Он тщательно выбривает мне щеки и подбородок. Я смотрю на бритву. Такой легкий, смертоносный предмет. Промаяхнись он хотя бы на дюйм, и мое горло окажется перерезанным. Пальцы у него пухлые, мягкие, чуть липкие и пахнут чем-то приторно-сладким. За ним приходит очередь куафера. Я никогда не уделял особого внимания своим волосам, они росли как им вздумается, ложились крупными завитками, падали на лоб, лезли в глаза. Мадлен нравилось играть с ними. Нравилось наматывать их на свои тонкие пальчики... Стоп! Дальше нельзя. Не вспоминать.

Куафер расчесывает и укладывает мои волосы. Щелкнув над моей головой ножницами, отсекает лишнюю прядь. Любен помогает надеть камзол, затем слегка давит мне на плечо, вынуждая взглянуть в огромное зеркало, которое держит передо мной ученик куафера, мальчик лет двенадцати.

В зеркале щегольски одетый черноволосый молодой человек. Он очень хорош собой, но бледен, и у него тени под глазами. Черты его лица мне знакомы и даже привычны. Но все же это не я. Кто-то другой. Потому что предшествующий я умер, как того и желал, а тот, кого я вижу в зеркале, всего лишь подделка.

Я отворачиваюсь от зеркала, вопросительно смотрю на Любена, затем на Анастаси. Что дальше? Придворная дама отводит взгляд. Жестом приглашает следовать за собой. Мне это кажется, или она действительно смущена? Пока мы поднимаемся по лестницам, сворачиваем из одного коридора в другой, она не произносит ни слова. Идет чуть впереди и не оглядывается. Но у высокой дубовой двери, по обеим сторонам которой застыли слуги в черносеребристых ливреях, она оборачивается ко мне. Подходит очень близко, как будто намерена шепнуть мне тайное слово или, как Ариадна, вручить путеводную нить. Я слышу ее дыхание. Взгляд ее мечется по моему лицу. И тут я неожиданно прозреваю. Именно так она смотрела на меня в душной, переполненной палате, куда я принес ее. Она лишилась чувств, и большую часть пути я нес ее на руках.

Как и тогда, она что-то пытается разгадать или понять. Ищет ответ. Она верит, и в то же время сомневается. Там, в лечебнице, я провел около нее целую ночь. Она то приходила в себя, то впадала в забытие. Не жаловалась и не кричала. Только стискивала зубы, когда я неловким прикосновением причинял ей боль. Плоть ее была словно изодрана крючьями. Где-то во мраке улиц, в квартале Нотр-Дам, она доверилась грязнорукому шарлатану. Хотела сохранить все в тайне. Она ничего не рассказывала, да мне и не требовалось. Я часто видел этих несчастных. Обесчещенные, обманутые женщины, покинутые возлюбленные – они пытались изгнать из своего тела плод насилия или греха. Они шли на это преступление в надежде сохранить тайну. Им казалось, что этой кровавой жертвой они смогут воскресить прошлое, вернуться туда, где жила мечта и пламенела надежда. Они думали, что так можно все исправить и начать все с начала. Впрочем, большую часть этих жертвоприношений совершала нужда. Многие из них умирали, те, что оставались живы, теряли свои детородные способности, а были и такие, кто, пережив однажды эту боль, потерю любви, разочарование и предательство, навеки отрекались от мирских радостей и оканчивали свою жизнь в монастырях.

Я ничего не знал об этой женщине, не спрашивал ее имени. Видел только, что она не горожанка, а знатная дама. Что ж, и с ни ми это тоже случается. И они страдают. И кровь у них того же цвета, что и у прочих. Им приходится порой даже хуже, чем безымянным гризеткам. Знатное происхождение предполагает строжайшую тайну. Огласка – это позор и даже смерть. Опороченная жертва будет лишена семьи и самого имени. От нее отвернутся друзья, ее покинет муж, двери всех благородных домов будут для нее закрыты. Ей придется скрываться и влачить свои дни в печальном уединении. Или похоронить себя в монастыре. Вершина, на которую возносит судьба, скрывает по ту сторону пропасть. Какой же страх, какая смертельная тайна вынудили ее отправиться в эти зловещие закоулки, где сам воздух клубится пороком? Каким мужеством надо обладать, чтобы стойчески вынести боль, затем встать и отправиться в обратный путь по тем же заболоченным переулкам!

И вот она вновь смотрит на меня, не то укоряя, не то напутствуя. Она хочет что-то сказать, но ей мешают слуги. Она бросает на них ненавидящий взгляд, вздыхает и ровно произносит:

– Ее высочество ждет вас.

Глава 13

Ей нравилось играть в бога. Собственно, это единственное, что ей по-настоящему нравилось. Право жизни и смерти. Что может быть слаще и восхитительней? Наслаждение подлинное, без примесей, как золото самой высшей пробы, то, что делает смертного равным божеству. Все прочие удовольствия ничего не стоят, если за ними серой тенью не прячется оно, подлинное. Да и самого наслаждения не существует, если в нем нет этой волшебной пряности, этого яда, который люди называют властью над ближним.

Нет большего наслаждения, чем держать на ладони чью-то жизнь. Как птичку, которую изловили хитростью, или зайчонка, подобранного в лесу. Чувствовать в ладони биение хрупкого чужого бытия. Достаточно сжать пальцы, и тонкие ребрышки пронзят сердце, будто изогнутые кинжалы. Но пальцы можно и не сжимать, ибо со смертью наслаждение иссякнет, и тогда придется ловить другую птичку, другую жизнь. А для забавы пригодна не каждая жертва. Добыча должна быть достойна победителя. Ибо победитель этот – бог.

Она нашла свою жертву, свою богоравную добычу. Эта жертва обещала череду услад, от мерцающих и тягучих до ярких и ослепительных. Она уже познала нечто подобное. В ней уже разгорался этот огонь, еще без видимого пламени, без заметного жара, только тлел, как глубинный пласт болотного торфа, который скрывает подземный пожар. Ей нравилось пламенить именно так, размеренно, постепенно, без вспышек, когда трепет разливается внутри, заполняет каждую полость и каждую впадину эфирного свода. Клотильда прикрыла глаза. Ее власть обрела сугубо предметный образ. Она знала, что представлять.

Она, герцогиня Ангулемская, никуда не торопится. Она будет смаковать, будет затягивать интригу, играя множество ролей, рядясь в тысячу масок. Если она и будет мстить, то по рецепту верных слугителей Немезиды, предлагающих отведать блюдо холодным. Ее месть, месть оскорбленной, отвергнутой женщины, будет заключаться не в казни и смерти, а в покорении и развращении. Как мстительно и сладко она улыбнется, когда он, этот дерзкий бунтарь, этот страж добродетели, этот скорбящий муж, будет в сладострастной истоме молить о ласках, когда он, поборник благородного аскетизма, будет ослеплен роскошью, порабощен и подавлен золотом. Вот что значит настоящая месть – развратить, раздробить душу, окрасить ее в противоположный цвет, отвести от небес и предать ее дьяволу. Пусть он сам погубит себя, пусть сам опровергнет собственные идеалы, изгонит память и отречется от любви. Вот тогда она будет отомщена.

* * *

Герцогиня действительно ждет.

Это ее гостиная. Та же тяжеловесная роскошь. Что мне до нее? Деталей я не различаю. Едва лишь переступил порог, как сердце всплывает к самому горлу. Дрожь в ногах. Ничтожный смертный у сияющего престола. Посреди комнаты накрыт стол. Двурогие канделябры, серебряная посуда, хрусталь с рубиновым содержимым. Я вижу розоватый плачущий окорок, ряженую в перья дичь и аккуратные ломтики паштета. Злое, насмешливое изобилие. Бывали дни, когда мы с Мадлен обходились без ужина. Денег оставалось только на молоко для Марии, но и она иногда плакала от голода. А если она и сейчас плачет?.. У меня перехватывает горло. Не думай об этом, остановись. Ты должен сохранять спокойствие. Единственное, что приносит облегчение и уменьшает боль, это порыв броситься вперед и опрокинуть стол, смять, растоптать эти разукрашенные птичьи трупы, разбить слепящий хрусталь, а эту женщину, что сидит за столом, женщину, чьи губы насмешливо и благодушно кривятся, чья поза так величественна и небрежна, убить... Мне хватит минуты, чтобы свершить казнь. Ее тонкая белая шея, гиб-

кая, беззащитная, мягко надломится в моих руках. Она не успеет даже крикнуть. Всего один прыжок... Ее веки наконец дрогнут, она испугается, взгляд прояснится, и она увидит меня, изумится живости и подвижности этой странной вещи. Дьявол толкает меня в плечо. Сделай! Сделай! Убей! Она заслуживает смерти. А как же Мария? Да, я могу отомстить. Даже лакей, стоящий в углу с винным кувшином наперевес, не успеет преградить мне путь. Даже если он закричит! Мне и тогда хватит времени, чтобы завершить начатое. Однако в следующее мгновение я буду уже мертв. Тут никаких шансов. Меня прикончат сразу. Забьют палками или заколют кинжалом. Я и до виселицы не доживу. Мария останется сиротой. И будет плакать от голода. Я уже едва не совершил эту ошибку, когда бросился мстить в день смерти ее матери. Довольно. Время скоропалительных решений прошло. Я должен выжить. И спасти свою дочь.

– Поди сюда, – говорит она и манит пальцем. Как? Так сразу? А как же эта роскошь на столе? Я думал, она даст мне время.

Я делаю шаг, но она требует, чтобы я подошел ближе. Я смотрю в пол, меня слепит ее кожа, а шея вблизи становится невыносимо притягательной. Черты ее лица точеные, шлифованные. Полукруги бровей будто выведены кистью, под веки вставлены стекляшки с черным агатом. Она такая же прямая и небрежная, как и прежде. Телом невелика, но заполняет собой всю комнату.

– Дай руку.

Голос у нее ласковый, тихий, но она знает, что я слышу. Ее всегда слышат, даже если она едва шевелит губами. Я повинуюсь. У меня бешено колотится сердце, голос дьявола все громче. Не раздумывая, протягиваю обе руки. Под кружевом ссадины и кровоподтеки. Следы оков, ремней и веревок. Любен исполнил предписание врача и сегодня утром смазал мои предплечья бальзамом. Саднящая боль утихла, и отек спал. Но россыпь бледнее не стала. Выглядит все так же устрашающе. Она изучает мои запястья очень внимательно, трогает пальцами и зачем-то приближает к глазам то одну руку, то другую. У нее участилось дыхание. Что ее так привлекает? Или... восхищает? Выглядит так, будто она наслаждается этим зрелищем, упивается редким цветовым сплавом. Пробует на ощупь, задерживает ладонь в своей, желая угадать разницу в разгоревшемся под кожей огне, открыть его истоки, обнаружить сердцевину, познать исход. Она в поиске знаний и доказательств. То свидетельства ее вторжения, ее власти.

Наконец она вздыхает и отпускает меня. В глазах странный голодный блеск.

– Бедный мой мальчик, обещаю, такого больше не повторится.

От шелеста ее губ, от голоса, такого ласкового, у меня по спине пробегает дрожь. Тонкие, ядовитые иглы проникают под кожу. Я начинаю терять решимость. Она будто раскидывает сеть, липкую, тонкую, почти невидимую, еще одна шелковистая стрела, и ноги слабеют, и тело деревенеет от безразличия и странного спокойствия. Примириться и сдаться. Рабы, повинуйтесь господам вашим...

Она жестом указывает на стол. Ее белая рука плавно, дугой, перемещается, и я всем своим телом следую по этой дуге. На противоположной стороне серебряный прибор. Такой же, как у нее. Мне оказана честь. Я допущен к трапезе.

– Почему ты ничего не ешь? Попробуй этот паштет. С чудесной корочкой и зернами граната.

Я голоден, но есть не могу. Не в силах проглотить и куска. Это все от дьявола. Это неправильно. Да, я голоден, я хочу есть, мое тело сходит с ума от этих запахов, от аромата неведомых мне пряностей. На моем языке сладость вина, мой желудок жаждет насытиться, отяжелеть от жирных маринованных кусков, зубы готовы сомкнуться... Как же я слаб... И голос шепчет, шепчет. Ну что с того, если ты отведаешь того паштета с яичной крошкой? Или надкусишь фазанье крылышко? А вон те фаршированные трюфелями цыплята просто восхитительны. Взгляни на эту ветчину, вон тот розовый глазок с тонкой полоской жира. А это заячье рагу со спаржей. Ты же ничего подобного не пробовал. Такие блюда подают королю. Чего же ты мед-

лишь? Ты уже подчинился, ты уже признал ее власть... Я помню, как Мадлен тоненькими, прозрачными пальчиками перебирала бобы. Маленькую горстку. Сердобольная лавочница отпустила ей в кредит. А герцогиня улыбается с противоположной стороны стола и говорит. Она говорит все так же тихо, роняет каждое слово, будто шелковинку, которая, взлетая, укладывается в очень правильный, симметричный узор. Узор этот не имеет изъянов, он удивительно хорош, с прямыми, точными гранями. Речь ее сокрушительна и безупречна. Она устрашающе права. Мне не обнаружить ни единой шероховатости, форма округла, и мое жалкое возражение скользнуло бы по ней, как босая нога по льду. Шедевр умозрительной софистики.

Хватит. Я здесь вовсе не затем, чтобы отыскивать аргументы и вступать с ней в дебаты. Пусть получит то, что желает. Мне слишком больно ее слушать. Я поднимаюсь из-за стола. Она сразу умолкает. Я сделал это без ее знака и тем самым нарушил равновесие. По лицу пробегает чуть заметная тень. Дергается подбородок. Ей страшно. Ей очень страшно... Отчего же она так рискует? Герцогиня не настолько глупа, чтобы полагать меня окончательно смирившимся. Или это средство разогнать кровь? Ах да, ей же скучно. А тут такая забава. Ужин наедине с убийцей. Попытка приручить раненого вепря. Она играет, ей нравится риск. Ходит по краю. Холодный пот под золотым шитьем, но усилием воли она держит спину. Рука нервно тербит большую фруктовую вилку. Страшно? Да, вам страшно. А вот мне уже нет. Я будто стряхиваю налипшую паутину, которая прежде сковывала мои движения и навевала сонливость. Не бойтесь, ваше высочество, вам ничего не грозит. Напротив, я намерен покорно служить вам. Если уж не душой, то телом.

– Я сделаю то, что вы желаете.

Я не жду приказаний. Выхожу на середину комнаты и снимаю одежду. Быстро и буднично. Стараюсь действовать без оценки собственного поступка. Мне нельзя думать, нельзя останавливаться. Я всего лишь совершаю несколько привычных движений: развязываю шнурки, разнимаю пряжки, тяну за рукав. Все как обычно, точно так же, как я делаю это каждый день. Мне это нетрудно. Что с того, что я сейчас раздеваюсь перед женщиной? Она – моя владелица, я – ее вещь. Стыд, отчаяние, нарушение приличий – все это несущественно. Это всего лишь игра воображения. Ложь и притворство. Я все же надеюсь, что она вспыхнет, заслонится рукой. Но она и бровью не ведет. И не отводит глаз. Даже не моргает. Изучает меня все так же пристально, только губы чуть размыкаются, и уголок рта ползет вверх. Стыд здесь неуместен. Я всего лишь облегчил ей задачу. Герцогиня принимает приглашение, и моя дерзость, похоже, ей по вкусу. Она отбрасывает салфетку и встает.

В доме епископа она сразу прикоснулась ко мне, спешила. Здесь, в собственной крепости, она может позволить себе не торопиться. Здесь ей подчиняется само время. Если ей будет угодно, то я простою так всю ночь. Она не позволит мне даже шевельнуться. Ибо я сам это выбрал, сам сделал первый шаг. Она будет на меня только смотреть, продолжая ужин, или отошлет прочь. Она предвкушает. Обходит вокруг. Будто я статуя Праксителя. Ушлый торговец предлагает ей эту статую за высокую цену, вот она и прикидывает, достаточно ли ценен товар. У меня внутри сгущается холод. Я все еще не позволяю себе думать, не желаю чувствовать. Но долго это продолжаться не может. Ее взгляд ползает по мне, очень медленно и расчетливо, препарируя и разделяя. У меня коченеют ступни, озноб поднимается выше. Я до боли стискиваю зубы, чтобы сохранять неподвижность. Моя сорочка маняще белеет в одном шаге от меня. Я бросаю на нее взгляд, как изнывающий от жажды странник. Схватить и бежать. Или прикрыться. Прижать матерчатый ком внизу живота. Но тут она прикасается ко мне. Я знал, что рано или поздно это произойдет, и все же ошеломлен. Кожа тянется, отторгает. Она гладит меня по спине, опускает руку между лопаток, будто с обратной стороны желает коснуться сердца. Это как первая ледяная капля. Она срывается с небес и катится за воротник. По телу пробегает дрожь. Но с этим ничего не поделаешь. Каплю уже не изгнать, остается только смириться, ибо за этой каплей последуют другие. Я чувствую, как она подходит ближе,

жесткое кружево царапает спину, дыхание обжигает. Она перебирает и мнет мои волосы, как уже делала это однажды. Я все еще пытаюсь отрешиться от суждений, стереть все краски. Это всего лишь прикосновение рта, это чьи-то губы. Безличные, не обремененные именем. Я не должен называть имя, не должен вспоминать. Мне нельзя. Я могу вспомнить, что это она убила Мадлен; что это по ее вине мой сын вышел из утробы матери кровавым ломтем, посиневшим и безжизненным, что это по ее прихоти наложенные щипцы разломали хрупкий младенческий череп и надвинули одну кость на другую; что это по ее приказу рука старого священника неестественно вывернулась, вопреки суставу, кожа тонкими желтыми лепестками цеплялась за мостовую, отделяясь от старческой плоти, а лицо с открытым ртом, уже разорванным, полным кровавой пены, билось о дорожные камни. Мне достаточно чуть скосить глаза, и я вспомню, я увижу, как все происходило. Потому что они здесь, среди этих теней. Пламя розовой витой свечи танцует на позолоте, отражаясь в хрустальном излишке, в перламутровой росписи бокалов, в зеркальной глубине над камином. В этой пляске они движутся и смотрят на меня. Они видят руки их убийцы на моем теле, ее прижавшиеся ко мне губы, ее жаркий и жадный язык. Ее пальцы, беглые, без тени робости и смущения, от прикосновений бросает в дрожь.

Я слышу шелест и скрип шелка. Торопливо вдыхаю, как ныряльщик, который на мгновение высунул голову из-под воды. А потом снова ожог и круговерть в глазах. Прежде были только ее руки, умелые, бесцеремонные, я научился наблюдать за ними, сводя все внимание лишь к механике и отменяя чувства. Но здесь мой рассудок дает сбой. Я чувствую два полушария женской груди, упершихся мне в спину. Тело внезапно разогревается, будто из самого ада в него влетает сладостный уголек. И уголек этот разгорается, и огонь течет по жилам. Это как пожар, который невозможно остановить. Огонь перебегает с одного предмета на другой, взлетает под потолок, рушит, уничтожает. Сделать уже ничего нельзя. Только беспомощно наблюдать, сокрушаться и воздевать руки. Меня накрывает волной. Раздирает на части. Я больше не единое существо, я нечто другое, из меня вынули душу, изменив ее качество на ярость. Эта ярость всплывает, поднимается, спешит по запутанным переходам наверх, бьется от нетерпения в упругие стенки. Безумная, животная ярость плоти. От меня прошлого остается только жалкий страдающий обломок. Она целует меня в губы, и мне это нравится. Я хочу, чтобы она продолжала. А себя ненавижу. Презираю так отчаянно, что судорогой сводит челюсть. Ликующий хохот и скорбный плач. Мокрая пасть и застывшее лицо ангела. Я на эшафоте – четвертый. Палач подхлестывает лошадей, и они тянут, тянут с ужасающей силой.

– Пойдем в спальню, – шепчет она.

Да, это она. Она, погонщик и палач... Ее рот вновь на моих губах, она раздвигает их, будто края запекшейся раны. Прикусывает зубами, и боль внезапно становится благословением. Я понимаю, что происходит, рассудок возвращается. Пожар продолжает бушевать, стихия неукротима, но я способен видеть. Моя душа цепляется за острый уступ над озером огня и печально взирает на грехопадение. Ей удалось вырваться из самого пекла, она избавлена от постыдного, животного растворения. Я должен что-то сделать, что-то сказать... Герцогиня вновь толкает язык мне в рот, но я сжимаю зубы. Она тут же отстраняется. Я слатываю ком. Эта глыба пережимает голосовые связки, заполняет легкие и гортань. Нужно вспомнить, как из воздуха складываются слова.

– Моя дочь... – Мне все же удастся.

Она не понимает. Глаза пустые, в них пляшет тот же огонь. Она давно ничего не помнит. Я пытаюсь объяснить.

– Моя дочь, Мария... Она осталась там, в доме епископа...

Ее зрачки расширены. Сейчас ее веки утратили свою неподвижность и вздернуты вверх. Рот растянут в странной улыбке. Она опять ничего не понимает, тянется к моим губам. Но я дерзко уклоняюсь, и она утыкается в щеку.

– Я ничего не знаю о ней. Вот уже больше двух недель?..

– И что с того? Какое мне до этого дело?..

– Она моя дочь.

– Какая еще дочь?..

Но моя сила растет. Когда первый шаг уже сделан, идти вперед легче.

– Я хочу знать, что с ней.

Мой голос окреп.

– А я хочу тебя, сейчас...

Она вновь ловит мои губы, но я отворачиваюсь, уклоняюсь на едва уловимые дюймы, замираю от собственной дерзости.

– Умоляю, позвольте мне узнать, что с ней, не голодна ли... она совсем маленькая.

И тут она вспоминает. Тут же хмурится, недоумеваает. Кривит рот. «Как же это все некстати...»

– Поговорим об этом после, – отвечает она и для пущей убедительности опускает руку мне между ног.

Но я удерживаю ее за запястье. Я знаю, что рискую. Осмелился противостоять ее воле. Я на узком мостике над пропастью. Так ли велика ее жажда?

– Это единственная милость, о которой я прошу вас.

Я готов умолять. Готов скулить и жаться к ее ногам. Готов продать свою душу. Я уже погиб. Я проклят. Так пусть же моя гибель не будет напрасной. Пусть искупит невинную душу.

Она меняется в лице. Облачко меж бровей тает. И она улыбается. Почти с участием смотрит в лицо. Шепчет с придыханием, мягко:

– Что ж, если это так необходимо... Я обещаю. И я верю. Разве у меня есть выбор? Гладиатор с арены взывает к императору. Я преодолел вяжущий страх раба и вырвал у нее обещание.

– Завтра же ты все узнаешь, мой мальчик.

Она заводит глаза, по-кошачьи прищелкивая языком. Ей не терпится. Она даже забывает про спальню. Укладывает меня на брошенную у камина шкуру. Но действовать не спешит. Ей все еще нравится смотреть. Она затягивает преамбулу и наслаждается. Возможно, для нее это и есть высшее блаженство, не сам акт обладания, а безусловная возможность. Власть. Она склоняется надо мной, а я повержен и открыт. Я не любовник у ног красивой женщины, я ценный артефакт. Подстреленный фазан на столе чучельника. Мне холодно и стыдно. Герцогиня длит и длит муку. Боже милостивый... Пускает по капле кровь. Снова раздувает огонь. Я чувствую ее тело, прохладное, длинное. Она почти одного со мной роста. Упирается в меня коленями и локтями. Локти у нее острые. Плоть беснуется. Болезненный спазм внизу живота. Кровь ударяет глухо и размеренно. Ей нравится меня дразнить. Еще одно доказательство ее могущества. Ей кажется, что она уже владеет мной изнутри, что я, как обезумевший пес, уже готов нестись с лаем по звериному следу, что мое отступничество уже свершилось.

Я знал, что это неизбежно, но, когда это происходит, едва сдерживаюсь, чтобы не вывернуться и не сбросить ее. Горячо, отвратительно и сладко. Она сжимает меня своими бедрами и прислушивается. Гонится за призраком нетерпения. Я должен пошевелиться, подать знак. Но я не шевелюсь, хотя кровь в венах, будто жидкий огонь. Надо мной ее грудь, белая, тяжелая. Но это не грудь женщины, это атрибут власти, ее орудие. Я закрываю глаза, потому что ее лицо приближается, она не прекращает своих наблюдений.

Я чувствую содрогания и рывки. Иногда это смешивается с болью, но она того и добивается. Чтобы я страдал и наслаждался вопреки этому страданию, чтобы трепетал и бился в объятиях палача. Мои руки она заводит мне за голову и намеренно давит на израненные запястья. Вбивает гвозди в крест сладострастия. Не могу сдержать стоны. Для нее это знак. Последний, краугольный. Она двигается быстро, беспорядочно, с хрипом, закидывая голову. Скалит зубы, совершает рывки то вправо, то влево. Я переживаю это короткое помешательство как порыв ветра с дождем. Чувствую, какой она становится жесткой и обжигающе горячей. Она спотыка-

ется, как лошадь посреди размашистой рыси, и вдруг внутри нее что-то происходит, неведомое мне, древнее. Она вытягивается, костенеет и вдруг падает. Скатывается с меня и замирает.

Глава 14

Ей показалось, что она лишилась чувств, но в действительности она мгновенно уснула. Повалилась на бок, как обезглавленный на плахе преступник. Сколько продолжалось ее беспомощное, она не знала. Или это все-таки был сон? У нее были видения, расплывчатые, необъяснимые. Она видела своего отца. Короля, но в ее сне он не был королем. В ее сне он брел среди толпы нищих и был оборван, грязен, как и они. Потом она смотрела на них издали. Это была нескончаемая вереница нищих. Она уходила за горизонт. Все эти двуногие существа брели куда-то, без цели, без времени. Серая, без единой травинки, почва. И такое же серое небо. Где она?

* * *

Она спит. Лежит рядом, скорчившись, поджав ноги, и спит. Вот так просто... Чего ей опасаться? Я даже не любовник, я вещь. Одна ее рука поперек моей груди, щека на моей ключице.левой рукой мне достаточно надавить ей на затылок. Она совершенно незащищена, голая и сонная. Безжалостная, высокомерная женщина. Она так меня презирает, что не считает нужным стыдиться или бояться. Будь я сыном графа, она не позволила бы себе такую беспечность. А такому как я можно сладко дышать в шею, навалившись грудью и вжимая колено в пах. Я чувствую тяжесть и боль. Внутри меня кровь все еще бежит по горячему кольцу. Кипящий котелок заперт и забыт на огне. Сверху огромный камень. Я даже не пытаюсь сдвинуть его, чтобы привести пытку к желанной развязке. Я не хочу этой развязки. Да и не могу. Огонь пожирает сам себя. Угли медленно выгорают, источая мучительный жар. Оказывается, плоть не так уж и всемогуща. Отступает перед терзанием духа. Я слишком взволнован. Натянут как струна. И еще... не хочу.

Это так же невыносимо, как терзания голода. Это тот же голод. Только другой. Тот медленный, осторожный, подкрадывается и душит, как змея, а этот жгучий и быстрый, как ястреб. Оба противника сильны и безжалостны, оба сулят освобождение, и оба лгут. За пресыщением неизменно следует расплата. Стоит лишь проглотить кусок, как уже жалеешь об этом. Стоит лишь поддаться соблазну... Но дьявол силен в своих силлогизмах. Он напомнит, что жизнь – это страдание, что земля есть юдоль слез, что само рождение – это мука, что каждый шаг – испытание, что каждый день полон трудов и лишений... Во имя чего страдать? Чем уравновесить то страшное бремя, что Господь лукавой милостью своей взваливает нам на плечи? Как разбавить кровавую горечь? Наслаждение – плотское, чувственное. Вот единственный исход, единственная награда. И так сладостно с ним согласиться...

Пусть так, я сам виноват... Я сам во всем виноват.

Она шевельнулась и тут же села. Смотрит на меня почти испуганно. Думает о том же, о чем и я. Голая в объятиях убийцы.

– Я не убил вас, ваше высочество. В ее глазах даже интерес. Эта вещь обладает незаурядными свойствами!

– Почему?

По законам ее мира я обязан был это сделать. Око за око. Зуб за зуб. Lex talionis¹⁵. Мне представился случай, и глупо было бы упускать. Она бы именно так и поступила. А затем присвоила бы себе славу Юдифи. Но как объяснить свое бездействие мне, мужчине? Поведать о том, что убивать сонную, незащищенную женщину, пусть нежеланную и нелюбимую, но которая только что была с тобой близка и так беспечно прикорнула у тебя на плече, по меньшей мере,

¹⁵ Закон воздаяния.

бесчестно? Или рассказать ей, что осуществленная месть, при всей видимости правосудия и справедливости, замыкает круг зла? Она не поймет. Ее это скорее позабавит. Поэтому я выбираю версию с явно читаемой корыстью.

– Меня казнят. Моя дочь останется сиротой.

В благодарность она удостоивает меня благодушного шлепка.

– Пойдем в спальню. Ты совсем замерз.

Мне действительно холодно. Ступни, икры ооченели и затекли. Я не могу сдерживать дрожи. Это неслыханное великодушие, что она наконец разрешает мне подняться. Все это время я будто лежал на острых камнях, но внешнего уцербa нет. Когда я оказываюсь в круге света, она кидает на меня одобрителный взгляд. Вещь ее не разочаровала. Сама она наготы не стесняется, полагая, что и стыдливость в моем присутствии только излишество. Тело у нее белое, длинное. Я стараюсь смотреть поверх ее головы или не опускать взгляд ниже ее подбородка. Но мужская природа берет свое. Мой взгляд липнет к ее туманной, шелковистой коже. Я его отдираю, тащу вверх или упираю в ковер под ногами, но все равно ее вижу. Вижу ее грудь, высокую, с темными сосками, вижу ее бедра, которыми она только что меня сжимала, вижу гладкие колени и узкие ступни. У нее красивое тело, точеное, без единого волоска. Не тело, а греховный морок. У меня вновь перехватывает горло. Вновь разливается жар.

Она приводит меня в спальню. На плафоне – ворох обнаженных тел. Боги хмуро косятся. Посреди комнаты кровать, огромная, высокая, как гробница. Я в ужасе смотрю на это сооружение. Но герцогиня повелительно кивает. Я ложусь и вздрагиваю. Простыни холодные. Жесткое, накрахмаленное шитье.

– А ты меня обманул, маленький притворщик.

О чем это она? Обманул? Как?

– Позволил собой воспользоваться, а сам ускользнул. Участвовать не пожелал? Для тебя это грех – разделить удовольствие с убийцей? Отвечай!

Мне нечего ей сказать. Она права.

– Ах ты, упрямец, вот что ты задумал... Ей смешно. Она принимает это за игру, своего рода кокетство. Я отказываю ей в ее естественном праве. Нарушаю все мыслимые законы. Ее это возбуждает. Она хочет знать, почему и как такое возможно. Придвигается ближе, прикасается ко мне. Она верит – если вынудит меня к плотской радости, то замкнет цепь на моем сердце. Сделает меня соучастником. Жажда ее утолена, но ей нужны доказательства. Дождь изливается на землю, солнце источает жар, а мужчина исходит похотью.

На этот раз она даже ласкает меня. Медленно, с оттяжкой. Огонь снова разгорается. Вспыхивает из-под угольной пыли. Я бы и рад подчиниться, свалиться в огненную яму, только бы прекратить эту муку. Но не могу. Узел крепок, хватка стыда и отчаяния не слабеет. А она раздувает и раздувает пламя. Спазм внутри все туже. Чем настойчивей ее ласки, тем упорней я сопротивляюсь. Сжимаюсь так, будто готов обратиться в пылающую точку. Но она преследует меня, проникает в мое убежище, дразнит языком.

– Ну, нет, такое красивое тело заслуживает награды...

Она не остановится. Будет тащить меня дальше. Ей нужна победа. Любой ценой. Она должна выиграть, должна доказать и мне, и себе, что по-другому и быть не может, что плоть моя греховна, а ее власть безгранична. Я уже не понимаю, что происходит, где она, а где я... Тряска, судороги, стоны... У нее как будто тысяча рук, они умелы, ловки, изысканны. Ее пальцы проникают под кожу, прорастают все глубже. Им нужно добраться туда, где еще тлеет робкая искорка, где прячется душа, захватить ее и раздавить. Этот огонек – единственное, что осталось во мне человеческого, там еще звучит голос Бога, там свет. Пот заливает мне глаза, пузырями выступает на коже. Она пьет мое дыхание. А язык, утончаясь, обретает невероятную длину и гибкость, заполняет мой рот и горло. Я задыхаюсь. Внезапно она перестает двигаться, и я слышу стон у самого уха. Она падает и тянет меня за собой. Требуется разделить с ней эту минуту. Но

я уже не в силах ответить. Я одеревенел, мое тело – бесчувственный, неживой обрубок. Я не могу пошевелиться. Ее дыхание выравнивается. Что же дальше? Я ей больше не нужен. Обратился в бесполезный, чужой предмет. Но она не отступает. Наклоняется и шепчет.

– Теперь твоя очередь, мой сладкий. Ты меня не разочаровал, так не останавливайся. Ты должен разделить это со мной. Должен! Я так хочу! Ты должен! Должен!

Нет, не надо... Я не могу, я ничего не чувствую. Даже если б мог... Она снова двигается. Резко и часто. Но это уже работа, нудная, тяжкая. Она совершает ее машинально, из одного азарта, с отвращением. Она ненавидит меня. Горька участь погонщика. Бич режет ладонь. Надо поднимать его вновь и вновь, гнать вперед упрямую скотину. Нет ничего, кроме жара и боли. Я готов сдаться, я капитулировал, изо всех сил тяну лямку, именно так, как она хочет. Я устал. Но она подгоняет.

– Быстрой, ну же! Не пытайся остановиться. Двигайся.

И я двигаюсь, я пытаюсь ей угодить. Ей больно так же, как и мне. Она удерживает меня, словно раскаленный, сжигающий изнутри брусок. Готова бросить, но не желает отступить. Но мне уже все равно. Загнанный конь пал на колени, и никакими ударами его уже не поднять. Мой погонщик в таком же изнеможении. Тело сотрясает дрожь. Мне холодно. Я жду удара, но она не шевелится, только дыхание хриплое и прерывистое. Но я знаю – она в ярости. И желает мстить. Пнуть меня коленом, чтоб задохнулся от боли. Я пытаюсь лечь на бок, как-то защититься. Ее глаза пылают, как угли. Но она не поднимается, даже не шевелится, только выталкивает слова, будто промокший от слюны кляп.

– Убирайся! Пошел вон!

Это почти царская милость. Ноги не слушаются, дрожат. Я выбираюсь из спальни на ощупь, в темноте. Спотыкаюсь, но дверь нахожу. Там, в гостиной, все еще горят свечи. Моя одежда по-прежнему на полу. Я торопливо одеваюсь, пытаюсь унять дрожь. Пальцы исполняют замысловатый танец. Чужой, непривычный облик, чужая одежда, и кожа чужая. Нахожу дверь и пытаюсь бежать. За дверью – лакей и двое пажей. Черно-серебристые ливреи, стриженные еще детские головы. Один из них проснулся и теперь косится на меня. Я в нерешительности. Поднимет ли он шум и вернет меня обратно? Но он поворачивается на другой бок, кулаком пихает свернутый в узел плащ. Я прохожу мимо и открываю следующую дверь.

За ней темно, и куда идти, я не знаю. Где-то расположена та комната, где я провел предшествующий день. Где-то за переходами и лестничным пролетом. При дневном свете или с фонарем я бы ее нашел. Но в этой крошечной тьме, на подгибающихся ногах, с мыслями, что мечутся, будто разъяренные осы, я не в силах даже направление угадать. Да и не тревожит меня это. Я просто хочу бежать, бежать как можно дальше от своего стыда. Утыкаюсь в другую дверь, сворачиваю. Пересекаю зал с лунными пятнами на полу. За ним попадаю в длинную галерею с высокими окнами. От луны белесые лужи. Я вижу глубокие ниши с темными фигурами. Страшные безглазые статуи. Сатиры и нимфы. Они взирают на жалкого дрожащего смертного. А я торопливо перебегаю от одного лунного пятна к другому. Тени шевелятся под ногами, и на миг я воображаю, что обитатели этих ниш сейчас сойдут вниз и будут преследовать меня, осквернителя их покоя. Башмаки мне велики, мне неудобно, и я подволакиваю ногу. Пересекаю галерею и дергаю дверь. Заперто. Дальше мне не уйти. Тогда обратно? Прислонившись спиной к запертой двери, я смотрю в пустоту. Противоположный конец галереи тонет во мраке. Я вглядываюсь в него, будто ожидаю преследователей. Вот сейчас из пустоты выступят клубящиеся фигуры. Вот послышатся голоса. Но никого нет. Тихо. У стены, рядом с ближайшей нишей, – скамья. Вероятно, я мог бы спросить дорогу у пажей или у лакея. Стоило лишь тронуть кого-нибудь за плечо. Но они будут смотреть на меня. Взгляд такой понимающий. Одежда в беспорядке... Только что из ее спальни. Новая хозяйская забава. Видно, не угодил... Или сложением не вышел. Презрение и жалость. Нет, этого мне не вынести. Стыдно. Тогда я останусь здесь. Взираюсь с ногами на скамью. Сворачиваюсь, корчусь. Так теплее. В

галерее сквозняки. Скамья из полированного дерева, холодная, жесткая. Никак не согреться. Мне некуда бежать, и у меня нет выбора. К сердцу подкатывает тоска.

Глава 15

Почему его назвали безродным? Почему уличили в низком происхождении? Правильней было бы признать его происхождение неразгаданным, ибо родители его неизвестны. Геро сирота, подкидыш. По наведенным ею справкам первые годы своей жизни он провел в приюте, с такими же безродными, безымянными сиротами, как и он сам. Однако сиротство вовсе не означает низость крови.

* * *

Кричать или молчать, разницы нет. Никто не услышит. Умирать надо молча. Со смирением и готовностью, так, как это делают бессловесные твари. Мир дарует жизнь, мир ее отнимает. Естественный ход событий.

Я понял это давно, еще тогда, когда замерзал на ступенях церкви Св. Евстахия. Мне было девять лет. Я сбежал от своих хозяев. То, что было до них, я помню смутно. Череда зыбких дней и ночей. Приют некой мадам Гранвиль. Она была вдовой кондитера и после смерти мужа содержала что-то вроде пансиона для сирот. На каждого ребенка ей выплачивалось скудное содержание из монастырской или городской казны. Хватало на водянистое молоко, жидкий суп и кое-какую одежду. Иногда перепадало немного овощей и кусок жилистого мяса. Сирот на ее попечении было около двадцати, но после длинной зимы и весенней оттепели число их обычно сокращалось. Впрочем, ненадолго. Париж не знал недостатка в сиротах.

Несмотря на то, что наша благотельница была вдовой кондитера, о сладостях мы имели смутное представление. Не пробовали, но знали, как они выглядят. На другой стороне улицы была кондитерская дальнего родственника этой вдовы. В витрине этой кондитерской я видел сладости. Помню, я часами простаивал перед этой витриной. Там переливалась всеми цветами радуги сахарная глазурь. Крошечные пирожные с кремовым шаром и ореховой крошкой. Они представлялись мне пищей неведомых могущественных существ. Где-то они обитали, эти счастливые существа, где-то рядом с Богом... Впрочем, о Боге представление тоже было смутным.

Местный кюре обещал, что Бог непременно всех нас накажет. И Бог представлялся мне в образе хозяина мясной лавки с огромным окровавленным тесаком. Этот мясник был огромного роста, широкоплеч, с красным лицом и хваткими жилистыми руками. Я видел однажды, как он ухватил за шиворот шупленького подростка, сделавшего попытку стянуть с прилавка связку кишок.

– Не укради! – громогласно возопил мясник, с хрустом выворачивая мальчишечью руку.
– Грех! – многозначительно подытожил кюре.

И я тут же представил Бога. Он хватает грешников, затем отрывает им руки и ноги. Когда видел на улице увечного попрошайку, безногого, безрукого, без глаза или с обрезанными ушами, то сразу понимал – грешник! Его Бог покарал. Он что-то украл или не был почитателен к старшим, молитву вовремя не прочитал, к мессе не явился, монаху милостыню не подал, господину не поклонился или еще того хуже – выпрашивал кусок сыра! Господь наш сорок дней в пустыне постился, крошки хлеба не вкушал, воды не пил, а мы – дети Сатаны, плоды греха – только о том и думаем, как бы животы набить. Я плохо понимал, о чем нам толкует по воскресеньям кюре, есть очень хотелось, но одно уразумел: я – грешник. В чем моя вина и каков мой грех, я не знал, мал слишком, чтобы искать ответы, просто чувствовал – виноват. Грязен, ущербен и плох. Есть те, кого Бог привлекает, а есть те, кого отвергает. Вот я среди вторых. Задумка дьявола. Я смирился с этим и не задавал вопросов, да и не умел их задавать. Только иногда по ночам к сердцу подкатывала тоска, и я плакал от странной, узаконенной несправед-

ливости. Вокруг пустота. Она населена людьми, но ты для них как будто невидим. И твой голос никто не слышит. Хотя ты можешь кричать. Но это не поможет. Тебе прикажут молчать. Или в наказание запрут в чулан. Объявят упрямым и капризным. А если и дальше будешь хныкать, то лишат того скудного, пресного обеда, что дает тебе силы. А еще тебя выставят босым под морозящий дождь, и там ты будешь просить прощения и каяться. В чем? Это не имеет значения. Ты доставляешь хлопоты. Ты – бремя.

Когда мне исполнилось восемь лет, выплаты на сирот внезапно прекратились. Позже отец Мартин рассказал мне, что случилось это по причине убийства маршала д'Анкра и ареста его жены Элеоноры Галигай. Молочная сестра королевы-матери время от времени делала пожертвования монастырям и приютам. А некоторым пансионатам, что принадлежали частным владельцам, она даже учредила что-то вроде ренты или пенсии. На каждого подкидыша выплачивалась определенная сумма. Половину суммы владелица оставляла себе за труды, а из другой половины оплачивала скудный рацион воспитанника. Но маршалышу отдали под суд, и выплаты прекратились. На следующий же день наша благодетельница снарядила одного из нас и увела с собой. На следующее утро повторилось то же самое. Еще один воспитанник исчез. Мы не знали, куда. Ушедшие с ней более не возвращались. Оставшиеся угрюмо теснились на лежанках, укрывались тряпьем, тихо всхлипывали. По детскому невежеству своему мы не воображали ее скидывающей маленькие тела в Сену, но нам было страшно. Что-то неведомое, темное клубилось по ту сторону ворот.

Вскоре настал и мой черед. Мадам Гранвиль поправила мою курточку и пригладила волосы. Уже давно эта буйная поросль вызывала у нее раздражение. Волосы падали мне на глаза, и она утверждала, что я похож на волчонка. Я не знал, кто такой волчонок, но определил, что это нечто плохое. Однажды она схватила ножницы и, зажав меня между коленями, оставила бугристый, с проплешинами ежик. Волосы вновь отросли. Но на этот раз она не стала их стричь. Ограничилась тем, что провела мокрой рукой и согнала непослушную прядь со лба. Чтобы не смотрел, как звереныш. Затем взяла меня за руку и увела. Я не испытывал сожаления, но все же напоследок оглянулся. Это место, полутемное жилище, неприветливое, мрачное, стало источником моих первых воспоминаний. Там я мог укрыться от холода, там произнес свои первые слова. Там было что-то похожее на дружбу. А теперь я уходил и не знал, что ждет меня впереди.

Мадам Гранвиль привела меня на улицу Шардонне, к большому постоялому двору. Он принадлежал кому-то из ее дальних родственников.

Хозяина звали Эсташ. Слуг и служанок у него было достаточно, но нужен был кто-то еще, на совсем уж черную работу, желательна мальчишка, сирота. Месье Эсташ вовсе не напоминал того жилистого мясника, чью внешность я приписывал Богу, напротив, был тщедушен и мал ростом, но мне он показался гораздо более опасным. Мясник потрясал тесаком и угрожал, а этот мог, не произнося ни слова, убить.

Конечно, такие выводы я сделал гораздо позже, уже взрослым, а тогда я просто дрожал. За мою жизнь мадам Гранвиль получила несколько су. И расписку. Месье Эсташ стал моим господином. Моим первым владельцем.

Я работал – днем, ночью, вечером, утром. Трактир был большой, посетителей много. Иногда день и ночь менялись местами. Если я падал от усталости, любой из слуг мог пинком разбудить меня и послать за водой или на кухню. Я чистил овощи, щипал птицу, сгребал потроха, выносил помои, по десять раз на дню спускался в погреб, таскал тяжеленные бутылки с вином и уксусом, перебирал рис и бобы. И еще я постоянно таскал воду. Много воды. Вода требовалась на кухню, для мытья глиняных горшков, для чистки посуды, для приготовления супа, для привередливых гостей, для капризной хозяйки, для прачки и еще много для чего. Я таскал и таскал эту проклятую воду, по ведру в каждой руке, сползая по мостовой к набережной, сбивая колени и ломая спину. Иногда на обратном пути у меня подгибались ноги, и

я падал, опрокидывая на себя ведра. Промокший до нитки, я поднимался и возвращался на набережную. За водой. Без нее я не мог вернуться. Без нее меня ждали поломанные ребра и голодная ночь в чулане. Меня запирали в нем вместе со старой утварью. Первые несколько ночей я спал на голом полу, а затем кто-то из сердобольных служанок бросил мне несколько старых, побитых молью юбок и дырявый капор. Зимой я мерз, летом задыхался. От усталости не разгибались пальцы, от голода сводило живот. Но я не умер, я выжил. И как-то даже окреп. Для хозяина я по-прежнему оставался мелким домашним животным, но прачка время от времени гладила меня по щеке, служанка, столкнувшись со мной, совала в руку яблоко, кухарка приберегала кусок пирога, и даже хозяйка, мадам Эсташ, заметив как-то, что у меня красивые глаза, сказала, что если меня отмыть, я мог бы прислуживать за столом.

А потом случилось это. Меня заметил хозяин. Прежде я был словно невидимка, часть кухонной утвари, старательный, безотказный, он бы и в лицо меня не узнал, поинтересуясь кто, тот ли это мальчишка, что воду таскает. Но тут он спустился на кухню, когда там, по редкой случайности, было тихо. Поварята гурьбой высыпали во двор птицу щипать. Повар с кухаркой осматривали битых гусей, а служанки судачили с зеленщиком и помощником пекаря. Я остался один над мешком белого редиса, с которого обдирал ботву. От томлящихся соусов и кипящих супов было душно. Я стянул куртку и поминутно вытирал со лба пот. Ныла спина. На минуту я прислонился к высокой плетеной корзине, чтобы передохнуть. Ладони стали зелеными и кое-где саднили. Похоже, я задремал. Но тут же проснулся, будто кто-то толкнул меня в бок. На пороге стоял хозяин и смотрел на меня. Внутри все оборвалось. Я торопливо стал выхватывать из мешка белые землястые корнеплоды и выверенным движением обрывать листья. Он перешагнул порог и приблизился. Я внутренне напрягся. Сейчас он ударит меня. Я позволил себе заснуть. Я бездельничал. Предметов, дабы произвести экзекуцию, было в избытке. Соусные ложки, черпаки, скалки, каминные щипцы. Он ударит меня тем, что окажется ближе. Я невольно повел плечом и хотел уже закрыть лицо руками. Но он меня не ударил. Только приблизился. От его суконного передника пахло чем-то кислым. Я видел пятна на порыжевших башмаках. Этот человек за весь год моего пребывания в его гостинице и работы на него не сказал мне ни единого слова, а я безумно его боялся. Вдруг он взял меня за подбородок и заставил поднять голову. И потянул еще выше, вынудив встать. Я зажмурился. Чувствовал только холодные, сухие пальцы, что впивались мне в кожу. Сердце бешено колотилось, и в груди стало пусто. Вдруг он меня отпустил и ушел.

Я еще некоторое время стоял, оцепенев, а затем едва не повалился на корзину, из которой торчали зеленые побеги проросшего лука. Вернулись, гогоча и переругиваясь, поварята. В руках у каждого по розовой голенастой тушке. На меня даже не взглянули, но я все же предпочел вернуться к редису. До самого вечера все шло как обычно. Я бегал взад и вперед, выполняя мелкие поручения, которые с наплывом постояльцев сыпались на меня со всех сторон, получал тычки, затрещины, оборачивался на голоса. Спотыкался и падал. Только далеко за полночь, когда постояльцы окончили ужин, мне удалось оказаться в своей каморке и наконец упасть. А упасть для меня означало уснуть. Иногда мне казалось, что я и не сплю вовсе, так быстро пролетали эти несколько часов. С первыми лучами солнца гроыхали бидоны молочника. Я просыпался и бежал во двор, чтобы помочь кухарке стащить эти огромные емкости с шаткой телеги. Закрыв глаза, а открыл уже перед бидоном с молоком. А момент провала в сон и вовсе от меня ускользал. Я засыпал, еще не коснувшись своего жалкого тряпичного ложа. В ту ночь я так же провалился в сон, но разбудил меня не грохот бидонов. В темноте на меня кто-то навалился...

Кто-то огромный, душный поворачивал меня лицом вниз, больно давил на затылок. Я уловил опасность не разумом – телом. Я был слишком мал, чтобы понимать или рассуждать. Разум еще не проснулся, а тело уже стянуло в дугу. Спасаться. Бежать. Страх будто наполнил меня воздухом и швырнул вверх. Страх подсказывал, что делать. Я изогнулся так, что зубами

смог дотянуться до навалившегося врага. Это было плечо под холщовой рубашкой. Знакомый кислый запах. Я вцепился, как волчонок, с которым меня так часто сравнивали. Нападавший взвыл и отпустил меня, но в следующий миг я получил удар в переносицу. Из глаз посыпались искры, я откатился в сторону, но сознания не потерял. Наоборот, боль усилила страх. Я не знал, что нападавший хочет от меня, но то, что это угрожает моей жизни, не сомневался. Темная фигура надвинулась. Сквозь слуховое окно проникал свет, я видел растопыренные пальцы. Он надвигался, путь к бегству был отрезан. Я перебирал по земляному полу руками и ногами – отползал к стене. Вдруг ладонь легла на нечто круглое и шершавое. Жесткий, увядший плод. Репа или брюква. В этом чулане иногда хранили мешки с овощами. Я схватил шар и бросил в надвигающегося врага. Швырнул отчаянным, звериным броском. Попал. Он опять взвыл и схватился за голову. Потом забулькал, заскулил и уже не пытался приблизиться. Подскакивал и бил ногами. Глухо урчал и взвизгивал. Увернувшись, я зацепил несколько составленных друг на друга глиняных горшков. Они рухнули с оглушительным грохотом. И тут же где-то рядом послышались голоса: «Пожар! Грабят!» Сразу все заворочались, застучали. Наверху бухнула дверь. Нападавший сразу отступил. Он шептал что-то многообещающе мерзкое. Голос в темноте, как клекот. Снова дохнуло кислым, и тут я узнал его. Хозяин! А кислый запах – от его старого кафтана в пятнах мясного соуса. Этот кафтан был очень старым, в жирных разводах, но хозяин никак не мог с ним расстаться. Чего бы он ни надевал под этот кафтан, даже новую сорочку, все мгновенно пропитывалось этим гниlostным, жирным запахом. Я укусил хозяйина. Я ударил его. Но что он от меня хотел? Я не знал. Почему он спустился ночью из своей спальни в мой грязный чулан? Он хотел меня убить? Но если он хотел меня убить, он мог бы сделать это и днем. Мог взять плеть, трость, наконечник разливной ложки, кочергу и забить меня насмерть. Он заплатил за меня несколько монет. Он имел на это право. Что же он делал здесь? Впрочем, теперь он убьет меня наверняка. За дверью нарастал шум. Искали пожар.

Мне недолго осталось жить. Скоро рассвет. Я покосился на крошечное слуховое окно под потолком. Высоко... Но меня вел все тот же животный страх, который помогает кошке выбраться из горящего дома. Я подтащил из угла мешок с луком, взгромоздил на него большую плетеную корзину кверху дном, а затем взобрался на импровизированную лестницу. Это было несложно. Я так долго учился балансировать с двумя полными ведрами над обрывом набережной, что хватило двух коротких движений. Я даже сообразил выбросить в окно пару своих растоптанных сабо, которые падали с ног, но оберегали от заноз и уличной грязи. На шею я нацепил связку сушеных грибов, а за ней связку мелкого лука. С десятков таких связок было развешано по стенам моей каморки. В ушах прозвучал голос кюре: «Грех!», а когда выбрался на улицу, то даже втянул голову в плечи, ожидая, что сейчас с небес протянется жилистая, волосатая рука и схватит меня за шиворот. Но это быстро прошло. К тому времени мне уже с трудом верилось в карающую длань Господа. Я столько раз видел, как воровство оставалось безнаказанным, что видение Страшного суда значительно потускнело. Кюре твердил о десяти заповедях, грозил вечными муками, а люди вокруг только тем и занимались, что опорожняли карманы ближнего. Слуги воровали у хозяина, хозяин обсчитывал постояльцев, постояльцы грабили друг друга. Однако Бог вовсе не спешил вмешаться и пустить в ход свою жилистую длань. А если нет, то чего бояться? И я поудобней расположил обе связки у себя на шее.

Я почти не бывал за пределами гостиницы. Единственное, что я видел, так это набережная Вязов, куда я спускался за водой, и городской рынок. Кухарка время от времени брала меня с собой, чтобы на обратном пути я тащил корзину с пучками редиса и связками сельдерея. Иногда она навешивала мне на плечи полотняный мешок со свежеспеченным хлебом. Он был еще горячий и приятно грел спину. И запах был такой мучительно вкусный. У меня живот сводило от этого запаха. Я ни разу не пробовал этот хлеб, только помнил запах. Успевал заметить блестящую золотистую корку, когда уже на кухне сбрасывал мешок с плеч на солому и вытряхивал содержимое в большую корзину. Меня тут же выгоняли, и я уже не видел, что

происходило с этим хлебом дальше. Но посещать рынок мне нравилось. Это единственное, что вносило некоторое разнообразие в череду нескончаемых ведер. Шум, гам, толчея, застрявшие повозки, красные лица, разинутые рты. Это давало пищу воображению, ибо ничем иным ему еще не доводилось питаться. Я смотрел на этих людей, потных, разгоряченных, таких разных и в чем-то фундаментально единых, пытался угадать, разведать, что там, по ту сторону их гремящей суеты. Я воображал их дома, их родителей, их детей, их повседневную жизнь, их тревоги. Все мои задумки не имели разительных отличий от уже известных мне картин, но я все же учился подмечать детали. Я запоминал и придумывал. Обрывок цветной материи представлялся мне таинственной картой. Незнакомое слово – ключом к этой карте. Было опасно и увлекательно. Мир был полон загадок. Я, само собой, не задавал себе вопросов о страданиях и противоречиях, окружавших меня, я всего лишь смотрел. Картины, запахи, звуки. Вся эта круговерть указывала на неведомую мне прежде сложность окружающего мира, на долину, что лежала по ту сторону улиц. Я бы хотел увидеть эту долину, уже заглядывал в узкий, темный переулочек, но тут кухарка окликала меня, и с мечтами приходилось расстаться. Я плелся вслед за ней, волоча покупки, и грезил об одном – скинуть с плеч тянущую ношу и тайком поживиться куском черствого хлеба.

И вот я свободен. Я там, где давно хотел оказаться, и нет более стража, что велит мне повернуть обратно. Я избавлен от ведер с водой и жесткой, ранящей пальцы ботвы. Почему же мне так страшно? Мне страшнее, чем было прежде. Неизвестность пугает. Я наконец вышел за ворота, но едва жив от страха. Готов вернуться обратно и лечь к ногам хозяина. Пусть бьет, пусть пинает ногами, только пусть не гонит сюда, в мир, где все незнакомо. С утра я бы вновь проснулся от грохота бидонов, привычно взялся бы за дужку ведра, под вечер мне бы достался кусок гренки или даже вываренный хрящ, а после ужина я бы свернулся в углу на своем дырявом ложе, и все повторилось бы сначала. Больно и тяжело, но знакомо. Куда же теперь? Где я найду приют и скудный ужин? Чем укурюсь от непогоды? Послышался шорох. Я заполз под прилавок. Там кучей была навалена солома. Гнили луковые очистки. Я забился в самый дальний угол, прижался спиной к дощатой перегородке. Опять шорох. С одной и с другой стороны. Я подумал, что это крысы, и у меня отлегло от сердца. Крыс я не боялся. Они были привычными, почти ручными. Я видел их марширующими в погребе, заставал в собственной камерке, иногда замечал перебегающими улицу. Нет, они были почти друзьями. Сметливые, ловкие, с черными блестящими глазками. У мэтра Эсташа им время от времени объявляли войну, брызгали ядом, сыпали отравленное зерно, но это не помогало. Они всегда возвращались. А одну из них я даже пытался приручить. Оставлял ей в углу сухие корочки сыра, которые подбирал в зале, где обедали постояльцы. И по вечерам, если оставались силы, угощал ее этим лакомством. Она даже приходила заранее и ждала меня. Воздевала к луне остроносую мордочку и принималась. А потом она исчезла. Не пришла больше. Это случилось вскоре после того, как мадам Эсташ завела новую кошку. Вернее, кота. Огромного зверя с рыжими подпалинами. Его голода и ярости хватало, чтобы внести некоторое замешательство в ряды погребных крыс. Но кот тоже вскоре исчез. Полагаю, переоценил свои силы в неравной схватке. Крысы быстро учатся. На рынке их тоже много. Солома шуршала все громче. Маленькие ножки топотали. Вдруг шевельнулось нечто более объемное по весу. И шевельнулось совсем рядом. Это уже не крыса, это создание ростом с меня. Глаза мои уже привыкли к темноте, и я различил эту фигуру. Человек! Но небольшой. Мальчишка. Едва я подумал, даже издал какой-то горловой звук, как он придвинулся ко мне. Большие настороженные глаза, волосы – свалявшийся колтун, личико треугольное, злое. Он сопел и подползал ко мне. И я вновь последовал совету не рассудка, а инстанции, мне совершенно неведомой, – снял с шеи связку грибов и протянул незнакомцу. Он на мгновение замер, обдумывая, затем схватил связку и обнюхал ее с той жадностью, с какой обнюхивала сырную корку моя знакомая крыса, распознав запах, сорвал подсушенный стручок и захрустел. Я смотрел на него с удивлением. Надо же! Даже мне не

приходило в голову утолять голод сушеной приправой... А он ест. Вновь шорох. И ящерицей скользнула вторая тень. Еще один мальчишка. И потянулся к той же связке. За ним еще один.

Вскоре меня уже изучали три пары сверкающих глаз, а три голодных рта жевали шляпки, ножи и перечные стручки. В конце концов я отдал и вторую связку с луком. Не из страха – страх к тому времени давно сменился странным возбуждением, – а из какого-то неведомого мне прежде любопытства. Они были так похожи на меня, будто отражение, только еще более жалкие и потерянные. Руководствовался все тем же звериным разумом, что управляет нашим телом без участия мысли. И этот разум требовал расстаться с добычей.

Моя следующая жизнь была недолгой. Я мало что помню, ибо те несколько недель, которые я провел на улице, слились в игольчатый серый стусток. Париж осадила осень. Шли дожди. Под ногами хлюпала зловонная жижа. А трое моих знакомцев с рыночной площади оказались посланцами Двора Чудес.

Двор Чудес – это королевство воров. Остров проклятых, к берегам которого прибывает тех, кто утратил надежду. Вотчина Альби. Не прояви судьба милосердия, та же участь ожидала бы и меня – стать ночной тенью. Мой неожиданный проводник, такой же сирота, как и я, привел меня к своему наставнику. Я вдруг оказался в мире еще более сумрачном и смрадном, чем тот, где обитал прежде. Мне доводилось видеть попрошайек и нищих, замечать мрачные, сосредоточенные лица в толпе, оглядываться, уколовшись о чей-то взгляд, но видеть этих ночных людей, согнанных в плотную, рычащую стаю, походило на те сны, что накрывали меня в самые тревожные ночи. Ярко горели костры, и люди в лохмотьях, в язвах, без рук, без ног неожиданно преображались. Слепые прозревали, безногие вставали, увечные смывали язвы. Потому и Двор Чудес. Я сам это видел. В первый же вечер, когда Томá, самый старший из моих проводников, привел меня к королю, я с ужасом и любопытством взирал на это превращение. Вот у слепца выкатились из-под век темные зрачки, и на меня уставились два здоровых глаза. Вот безрукий солдат, неловко подпрыгивая, высвободил свернутую за спиной руку. А безногий, сползая с тележки, вытянулся и уже блаженно потирал затекшие икры. Я засмотрелся и едва не упал. Томá пихнул меня. У костра сидел его наставник, хмурый худой мужчина. Томá кратко поведал о нашей встрече. Мужчина кивнул и указал куда-то в угол, в нагромождение корзин. Там, на соломе, а то и вовсе на камнях, расположились с десятков мальчишек, старше и младше меня. На самой внушительной тряпичной куче возлежал подросток лет пятнадцати. Он окинул меня равнодушным взглядом, остальные тарасились злобно и недоверчиво. Все бледные, худые, невымытые, с блестящими голодными глазами. Я примостился на самом краю старого полотнища, но кто-то выдернул его из-под меня, и я оказался на земле. Раздался хохот. Поднявшись, я попытался сесть на сломанную корзину, но корзину кто-то выбил ногой, и я вновь повалился на бок. Хохот. И вдруг я понял. Не словами, не разумом, а все тем же звериным сердцем – здесь будет то же самое. Спасения нет. Будут побои, голод и отчаяние. Однако совершить еще один побег я не решился. Не было сил.

Наставник, известный вор, обучал мальчишек своему ремеслу. Там, где ночью горел костер, утром появилось соломенное чучело в дырявом камзоле. Сверху донизу это подобие человека было увешано колокольчиками. В кармане камзола прятался кошелек, и кошелек этот полагалось извлечь, не потревожив крошечных стражей. Наставник поманил меня грязным узловатым пальцем и кивнул на чучело. Я в первое мгновение не понял, что означает этот кивок, боязливо косился на Томá. Втянул голову в плечи. Дабы внести ясность, наставник пнул меня ногой. Я приблизился к чучелу, взобрался на перевернутый бочонок и попытался нащупать кошелек. Пытался вспомнить, где у постояльцев гостиницы находились карманы. Наконец мне показалось, что я установил его местонахождение, протянул руку и... ближайший колокольчик тут же предательски звякнул. Дружный хохот, гиканье, свист. Меня стащили с бочонка и кто-то, кажется, тот подросток, презрительно бросил: «Смотри, как надо, растяпа!» И я смотрел. У него действительно получилось. Тонкая мальчишеская рука, как змея, нырнула

в карман, и в торжествующей тишине он предъявил наставнику свою добычу. Тот одобрительно буркнул, указал на меня и сказал, что Томá должен взять меня с собой, чтобы я смотрел и учился. Тот недовольно поморщился, но послушаться не посмел. После такого своеобразного урока ученики всегда отправлялись на промысел. Томá сказал, что, если я хочу есть, то я должен либо выпросить еду, либо украсть. Я сутки ничего не ел, и у меня в голове мутилось от голода. Само собой, я не смог ни выпросить, ни украсть. Первое было стыдно, а второе – страшно, несмотря на то, что товары валились с повозок прямо на мостовую. Я стал думать, не переночевать ли мне вновь под одним из прилавков. На рыночной площади торговцы оставляли мятые, подгнившие овощи. Мне тогда и в голову не приходило, что это влажное богатство уже стало собственностью здешних нищих, и попытайся я приблизиться к этой куче, мне размозжили бы голову. Но благодаря Томá я избежал этой участи. Он нашел меня там, где оставил, в дверной нише на улице Тюрбиго, и увлек за собой. Но прежде вытащил из-за пазухи еще теплый батон хлеба и отломил горбушку. Вернул долг. Кусок белого свежего хлеба. По всей видимости, он стащил этот батон прямо с прилавка. Я обеими руками ухватил кусок, вдохнул влажный, щекочущий аромат. Желудок едва не вытянулся до самого горла, обратившись в щупальце, но я не спешил. Я вдыхал и выдыхал, надкусывал, пробовал. Потом медленно жевал, и так же медленно, отслеживая собственное горло, глотал.

Пришло другое воспоминание, совсем свежее. Накрытый стол в гостинной. Фаршированный трюфелями фазан, плачущий сыр, прозрачный окорок. Все безвкусное, жесткое, будто из бумаги. А тот кусок из-под грязной рубашки, с запахом пота, я как будто ем до сих пор. Трапеза, сравнимая с пиршеством короля.

Но повториться ей было не суждено. На следующий день Томá был вновь отправлен за добычей, а я поплелся следом. В толпе на Гревской площади – там как раз зачитывали приговор двум мятежникам с Юга – я его потерял. И больше не видел. Тщетно я ждал его на нашем условленном месте у тумбы Нового моста, он так и не появился. Возможно, был схвачен за руку бдительным торговцем на площади и отдан стражникам или затоптан в толпе зевак. Стемнело. Я остался совсем один. Знакомство с Томá длилось чуть более двух суток, но за это время я нащупал связь с неким целым, пусть темным и смрадным, но частью которого я мог бы стать. Я уже не был гонимой песчинкой, я был опекаем. Обо мне заботились, пусть даже таким странным, уродливым способом. Но эта связь вдруг оборвалась. Без Томá я не решился вернуться к королю Альби.

Оставалось брести куда глаза глядят. Вновь ночевал на рынке, прятался от дождя под сломанным прилавком. В соломе удалось найти размякшую репу. Но с утра голод погнал меня дальше. Я и раньше никогда не ел досыта, почти смирился с вечным ощущением пустоты в желудке, но теперь голод стал нестерпимым. И еще эти запахи. Я бродил по улицам, а из распахнутых окон ко мне стекались густые, жирные ароматы. Они будто целились в меня. Когда человек сыт, он, вероятно, не замечает этих запахов. Но когда его терзает голод, эти запахи заполняют вселенную. Они становятся основой, формируют предметы. Мир вокруг будто состоит из еды. Солнце – это огромный круг сыра, крыши – хлебные корки, потолочные балки – длинные маслянистые колбасы. Кружево – это пар над котелком с супом. Стекло – расплавленный сахар. Я заглядывал в окна и видел людей, сидящих за столом.

Около одного окна я задержался. Уютно горели свечи. Полная женщина в белом чепце разливала по мискам луковую похлебку. Мужу, старшему сыну, среднему, двум дочерям и, наконец, сухонькой старушке, сидевшей у самого края. Стук черпака о край оловянной супницы. Мерный ход наполняемых и осушаемых ложек. Я приподнялся на цыпочки, ухватился за оконную раму и зачарованно смотрел. Я смотрел на мальчика со светлыми волосами, среднего сына, который был моим сверстником. Я будто пытался переселиться в него, влезть под его чистый суконный костюмчик и обжечь язык в этой густой, дымящейся жидкости. Вот я подношу ложку ко рту... вот губы мои охватывают круглое оловянное брюшко... вот зубы сту-

каются, а язык сметает кусочек мяса и волокна лука. Я держу этот нестерпимый жар во рту, а затем глотаю. И чувствую этот жар сначала в горле, а затем в благодарном желудке. Мое горло сократилось, я глотнул... Но ничего нет. Обманутый желудок дернулся, будто вскрикнул. Но оторваться я не мог, смотрел и смотрел. Кажется, так теплее. В комнате горел очаг, потрескивали дрова. Если я придумаю себя там, у закопченной решетки, мне станет теплее... И я придумал. Снова спрятался в теле светловолосого мальчика. Он уже покончил с супом и теперь ковырялся в пироге. У его ног прошла кошка. Он пнул ее. Я подтянулся чуть выше, чтобы видеть, что произойдет дальше, но тут полная женщина повернула голову и посмотрела в окно. Увидела меня, мое бледное расплющенное лицо. Облик сменился мгновенно. Вот только что хлопотливая, нежная мать, круглое лицо сияет радостью и довольством, и вдруг она щерится, как волчица, разевает пасть, замахивается черпаком... Я бросаюсь прочь.

Так близко к окнам я больше не приближался, смотрел издалека.

Глава 16

Герцогиня давно заметила этот парадокс. Чем меньше люди едят, тем больше они производят детей. Самые бедные семьи кишмя кишат неумытыми голодными отпрысками. Иная мать, сама шатаясь от истощения, тянет за собой веренищу младенцев, а в чреве зреет еще один. Но почему? От невежества? От животной глупости? Но животные, согласно рассказам королевского егеря, не столь безрассудны. В неурожайные годы, когда оскудевают луга, когда урожаи желудей ничтожны, а лесные ягоды становятся наградой, число новорожденных зверят сокращается. Животные своим бессловесным разумом осознают, что потомство будет обречено на гибель среди засыхающих деревьев. Звери заботятся о своих щенятах. Без грамоты и философии, без проповедей и религиозных воззваний они стремятся к уменьшению страданий. Почему же люди, претендуя на божественное родство, на обладание разумом и душой, так безнадежно слепы? Почему они так безжалостны к своим детям?

* * *

Кажется, что люди разнятся между собой по множеству признаков. Они верят в разных богов, говорят на разных языках. У них разные мечты, разные привычки, несхожие вкусы. Одни рождаются на вершине, другие – внизу. Они мужчины или женщины, взрослые или дети. Есть тысячи различий. Рост, походка, цвет глаз. И все эти различия весомы и осязаемы. Служат нам неопровержимым доказательством нашей самости. Мир состоит из разных, между собой несхожих людей, и у каждого своя судьба, своя линия жизни. И что может связывать нас, столь разных? Кто осмелится утверждать, что это слепящее разнообразие – всего лишь обман? Что видимое разнообразие ложно? На самом деле все не так. Нет высоких, толстых, угрюмых, болтливых, веселых, умных, ленивых, злобных, знатных, нищих. Нет мужчин, и нет женщин. Нет детей. И нет стариков. Никого нет. Есть только башмаки и ступени. Больше ничего нет. Все остальное – сон. Блаженная ложь. Ступени простираются под башмаками. Башмаки попирают ступени. Пока ты ребенок, каждый, кто чуть выше ростом и крепче стоит на ногах, для тебя – башмак. Но как только ты вырастешь, обретешь силу, нарастишь кулак, то найдешь того, кто станет твоей ступенью. Так оно и идет. Мир – будто огромная лестница. Живая лестница из людей. Сильный стоит на плечах слабого. А над этим сильным возвышается еще один, более сильный. А над тем – еще один, и так до самой вершины. Каждый одновременно и перекадина, и башмак. Я вспомнил того подростка, что согнал меня с холстины, когда я впервые оказался в королевстве Альби. Для наставника он – маленький порожек внизу, о который всегда спотыкаешься (я видел, как тот бил его – без злобы, лениво, согласно установленному порядку), ступенька он и для других взрослых воров, и для старого попрошайки на углу, и для хитрого рябого прево, что являлся за данью, и для стражников, и для лакеев, но для нас, худых, голодных мальчишек, для двух сироток лет пяти, он – башмак. Из нас он соорудил свою лестницу. У перекадины нет выбора. Она должна превратиться в башмак. Должна найти свою ступень, свою перекадину. Иначе не выжить. Если не хватает силы рук и ростом мал, то действуй хитростью и обманом. Если нет денег, то кради. Бери терпением или умом. Или выносливостью. Вероятно, мне удалось бы выжить. Я был терпелив и вынослив. Безропотно ел жидкий суп у мадам Гранвиль, таскал воду в гостинице мэтра Эсташа. Я прижился бы и в королевстве Альби. Обрел бы ремесло. Стал бы грабителем или ловким воров, своего рода сильным, и обзавелся бы слабым. Выжил бы и на улице, прибившись к одной из многочисленных банд. Обратился бы в ступень для чужой лестницы, а со временем взобрался бы на свою. Но вмешалась судьба. Неожиданно, как бесцеремонный хирург.

После очередной ночи на промокшей соломе я обнаружил, что не могу встать. Руки и ноги налились свинцом, голова кружилась. Но не встать я не мог. Вскоре придет хозяин и прогонит меня. Еще и сапогом угостит. Я почти ползком пересек улицу. Накануне вечером я перебрался с правого берега на левый, в Латинский квартал. Я уже побывал здесь двумя днями раньше, и какой-то студент в дырявом плаще поделился со мной куском сыра. В Латинском квартале было много студентов. Много шума, много маленьких винных погребков. Там меня не гнали прочь и даже швыряли мелочь. Но Латинский квартал я знал плохо и ночевать возвращался обратно, к Центральному рынку. А тут решил провести ночь по ту сторону Сены. Там тоже были торговые улочки, разбегавшиеся, как ручейки, от площади Сорбонны, и на этих улочках оставались прилавки. Я выбрал место посуше и попытался заснуть. Уже с вечера чувствовал озноб и боль в горле. Чуть пониже горла поселилась странная болезненная щекотка. Хотелось кашлять. Слезились глаза. Но я подумал, что это всего лишь усталость. За ночь я отдохну, и щекотка исчезнет. Я снова смогу дышать. Ночью мне снилась огромная балка. Она упала с крыши и давила на грудь. Я просыпался, ворочался, засыпал и вновь чувствовал ее тяжесть. А утром мне едва удалось встать. Меня шатало, ноги были ватные, душил кашель.

«Я умираю», – мелькнуло у меня в голове. Но было не страшно. Мысль была привычной, как «я хочу есть» или «мне холодно». Я ничего не знал о смерти. В детстве смерть – это всего лишь слово, даже если встречаешь ее на каждом шагу. Дети, подобно животным, не осознают и не боятся смерти. Их страх не обретает имен. Их разум молчит. Сражается тело. Я чувствовал, что лишаюсь сил, что тело мое в огне и в глазах темно, но связать воедино недомогание и надвигающуюся опасность не мог. Надвигалось что-то подавляюще огромное, от чего полагалось спасаться. Но что это было? В нескольких шагах от меня была церковь, маленькая, почти часовня. Прежде я не замечал ее, даже избегал. Как и других церквей и часовен. Они были грозные, молчаливые, с острыми башнями, с которых время от времени, будто огонь небесный, обрушивался набат. Из обитых железом дверей выходили люди в длинных темных одеждах. Они напоминали мне нашего кюре. Я помнил его рассказы о грешниках, о геенне огненной и потому бежал от этих людей. Мне представлялось, что именно там, за этими высокими дверями, по указке этих людей в рясах, Бог и вершит свою расправу над грешниками. Потому и гремят колокола на башнях. А тут по непонятной причине почти в беспамятстве я поплелся к дверям часовни, будто признавал свой грех и желал расплаты. Помощи я не ждал. Я тогда ни от кого не ждал помощи, ибо мир ни разу не позволил мне даже предположить, что помощь возможна. А как поверить в то, чего нет? Оттого и причин моего поступка мне не понять. Вмешательство судьбы? Голос свыше? Не знаю. Но это случилось. Я добрался до ступеней, влез на самую верхнюю и прислонился к стене. Дальше идти не мог. Дурнота усилилась. Дышать было трудно. Я был один. Посреди огромного города. Грохотали повозки, переругивались, хохотали люди. Их было много, и все же я был один. Люди, экипажи, лошади, собаки – это мираж. Потому что на самом деле их нет. Они не существовали, а я не существовал для них. Внутри меня полыхал огонь, тело пожирал озноб, боль звенела, но меня никто не слышал. Я был заперт в пустоте. Огромный, равнодушный мир и тысячеглазое небо над головой. Я свернулся клубком на холодных плитах. Слез не было. Да я и не привык плакать. Если падал, сбивал колени, слезы катились из глаз, но я быстро справлялся. В пустыне до слез ребенка никому нет дела. А если дать им волю, станет только хуже. Невыносимое, горькое теснение в груди.

Я не плакал, я чего-то ждал. Ждал, когда звуки окончательно стихнут, и свет угаснет, и станет тихо. Все кончится. Я услышал еще один звук, уже в темноте. Распахнулась дверь... Но этот звук стал последним.

Из часовни вышел отец Мартин, один из тех людей в длинных, темных одеждах, которых я так боялся. Он нашел меня на ступенях, и я выжил. В той пустыне оказался еще один путник. Он взял меня за руку и вывел к свету.

Почему я вспоминаю об этом? Почему именно сейчас, здесь, в этой темной галерее, на холодной скамье? Почему не думаю о хорошем? Почему не пытаюсь перейти эту ночь по светлым островкам выпавшего мне счастья? С тех пор прошло более десяти лет. Счастливых лет. Отец Мартин вырастил меня, как родного сына. Он излечил мое сердце, разбудил душу. Он научил меня верить. Жизнь была трудной, но радостной, полной надежд. Радость познания, радость любви. Первый поцелуй Мадлен, первый крик нашей дочери. Почему я ничего не помню? Я пытаюсь увидеть их лица, но это всего лишь плоские, равнодушные картинки. Это было не со мной. Ничего не было. Есть только каменная плита на церковной паперти. И такая же жесткая, холодная скамья. Круг замкнулся. Та же пустыня и то же безмолвствующее небо. Оно подглядывает за мной своим большим, серебристым глазом. Но ему даже не любопытно. Ни жалости, ни удовольствия. Только скука.

Глава 17

Она уснула. Вместе с сознанием угас и гнев. Она уже не помнила, за что разгневалась на него. Была какая-то неловкость, щемящее несоответствие. Она потерпела неудачу, но на рассвете с трудом могла осознать, в чем совершила промах. Воспоминания были другими. Сладкими. В теле все еще сохранялась теплая эйфория, эхо познанного блаженства. Как же она была слепа, невежественна! Она столько лет отрицала эту дарованную привилегию, лишая себя цветения жизни. Она ошибалась. Ее просчет состоял в неправильном выборе, ибо прежде она выбирала мужчин, как модные ткани, тех, кого одобряет молва и принимает двор. Истинный выбор она себе запрещала, как будто не доверяла или стыдилась. Теперь все изменилось. Теперь все будет иначе.

Она видела горящие солнечные пятна на золотых кистях полога. За окном зеленая дымка еще влажного от росы леса. Вероятно, это красиво. У нее возникло желание вскочить, вот такой как есть, без единого лоскутка пристойности, и подбежать к окну, отбросить портьеру, чтобы робко протиснувшийся в узкую прорезь день обрушился бы на нее, как ливень в первый день потопа. Последний раз она испытывала нечто подобное, это радостное ожидание, на заре юности, когда в невежестве своем воображала жизнь чередой праздников и триумфов, а себя их участницей и устроительницей. В юности раскинувшаяся впереди жизнь, с ее гирляндой дней и ночей, с ее годами и десятилетиями, которые несут в себе тысячи открытий и свершений, представлялась ей лежащей у ног волшебной долиной, этаким непременно раем, куда достаточно спуститься по узкой каменистой тропе мелких ошибок. И там, в этой долине, с первым же шагом начнут происходить чудеса. Будет восторг, будет блеск, будет огонь. А она будет ступать по брошенным ей под ноги золотым цветам в сиянии славы и красоты.

Каждый рожденный на этой Земле проходит через ожидания и надежды юности, через трепет нетерпения, но далеко не каждый так быстро исцеляется. Ей повезло, она исцелилась быстро и уже давно не страдала от того, что жизнь оказалась вовсе не волшебной долиной, где цветут сады, синеют реки и по белым тропинкам бродят единороги, а лабиринтом вонючих городских улиц, где по утрам находят ограбленные посиневшие трупы, а по вечерам бродят осипшие от вина непотребные девки. Она не страдала от утраченных иллюзий, ибо сразу признала разочарование как данность, а, пробудившись, выстраивала свой день, как столбцы цифр, чтобы правильно оценить возможную прибыль и принять убытки. Это было скучно, тоскливо, но разумно!

Ее что-то мучило, какая-то несообразно колкая мысль, шершавая и угловатая среди гладких и мягких. Она в чем-то ошиблась. Или это не она? Но приниматься за эту отступницу-мысль она не хотела. Она хотела насладиться покоем, блаженной усталостью, которую дарует лишь удовлетворенная женственность. Ее постель впервые за долгое время была согрета мужчиной. Подушка и смятые простыни давно остыли, но красноречивый беспорядок свидетельствовал о его присутствии. Она вспомнила, как совершила почти девически-смешной ритуал – заняла его место за столом в кабинете епископа, ладонями прильнула к подлокотникам, будто пыталась удержать невидимый фантом. Несколько часов спустя ей было стыдно самой себе в этом признаться. Какая сентиментальная слабость! Она уподобилась тем экзальтированным девицам, которые почитают за счастье стать рабыней мужчины. Как глупо она, должно быть, выглядела! В очередной раз упрекнула себя и тут же перебралась на ту половину кровати, которая несколько часов назад служила ему пристанищем. Вытянулась на спине и закрыла глаза, пытаясь всем телом уловить полустертые, остывшие контуры. Еще одна бессознательная попытка пленить и подчинить неизвестное, захватить

сам его образ, будто сохранившиеся очертания, вмятина на подушке могли бы дать дополнительные знания, открыть его тайну.

* * *

Все повторяется. Жизнь – это лабиринт, по которому неумолимо возвращаешься к первому повороту.

Луна уходит, и за окном синеет. Небо становится прозрачным, звезды бледнеют и гаснут. На другом конце галереи шаги. Мелкие, торопливые. Шум накрахмаленных юбок. Женщина... Я вижу ее. Это Анастаси. Она идет сюда не случайно. Она ищет меня. Прямая, хмурая, бледная. Волосы высоко собраны на затылке. Я невольно подаюсь назад. Она служит врагу. Позыв спрятаться, отползти. Но почему? Все это время она даже заботилась обо мне... Мой исколотый разум молчит, в ожидании только тело. Что ей нужно от меня? Но она не приближается, только делает знак и манит за собой. Колени не разгибаются, пальцы омертвели. Я похож на человека, который полночи провисел над пропастью, ухватившись за перекладину лестницы. Чтобы не сорваться, он боится пошевелиться. А теперь, когда пришла помощь и ему надо всего лишь протянуть руку, рука не слушается... Наконец мне удастся встать. Анастаси терпеливо ждет, лицо ее неподвижно, но глаза горят. Она берет меня за руку и уводит, как заблудившегося ребенка. Я будто пьян. Ночь без сна, долгие часы изматывающей тревоги.

Она приводит меня обратно к той комнате, где я провел предыдущий день. На пороге спит рыжий парень. Шумно дышит во сне, будто внутри у него не легкие, а кузнечный мех. Анастаси, не церемонясь, тычет его ботинком в бок. Он сразу просыпается и ошалело моргает. У него редкие, бесцветные ресницы...

– Тепло вина, – приказывает Анастаси. – И затопи камин.

Парень бросается исполнять. Анастаси усаживает меня в кресло, накрывает пледом. Озноб возвращается. Там, в галерее, я уже не замечал холода. Я замер и позволил ему овладеть собой, стал его частью. Я уподобился тем крошечным водным счастливицам, что с наступлением холодов погружаются в сон. Кровь течет медленнее, и сердце сокращается в полудреме. Но с первым шагом мое тело вернулось к жизни, и я вспомнил эту дрожь. Она не оставляет меня, хотя Анастаси почти сразу принуждает меня сделать глоток вина. Я слышу, как мои зубы выбивают дробь о стеклянный край.

– Позови Оливье, – не оборачиваясь, приказывает Анастаси.

Она садится напротив и не сводит с меня глаз. Потом встает и касается ладонью лба.

– Похоже, у тебя жар. Ничего удивительного. Ночь на сквозняке...

Появляется Оливье со своим неизменным кожаным мешком. Тоже щупает мой лоб, находит пульс, заглядывает в глаза. Затем роется в мешке. Раскладывает на столе снадобья, смешивает, разводит, добавляет вина и тоже заставляет выпить. Жидкость густая и сладкая. Он еще раз заглядывает мне в глаза, пальцами давит под подбородком и спрашивает, не больно ли мне глотать. Я мотаю головой.

– Плотный завтрак – и спать, – бросает он. – И пусть спит до вечера. Не будить, не тревожить. У этого парня слишком тонкая кожа.

– Что? – переспрашивает Анастаси.

– Кожа, говорю, тонкая, – брызгливо, дергая щекой, повторяет он. – Вот у этого, – он, не глядя, тычет пальцем в сторону Любена, – кожа, как хороший доспех. А у этого, – лекарь делает движение ко мне, – считай, ее вовсе нет.

– И... что это значит?

Лекарь собирает порошки и настойки.

– Что значит? А то и значит, что чрезмерно хлопотать не придется. Скоро все кончится...

Глава 18

Ярость подступала медленно. Будто умелый палач настраивал гаротту, предуготовляя долгую и заунывную смерть. Воздух будет застревать в груди, вдох – укорачиваться. Вдох будет оставаться внутри, проникать под кожу, образуя пузыри, багровые и тугие. Эта ярость будет все пребывать, как египетская саранча, как воды Красного моря, что покрыли колесницы фараоновы. Эта ярость в конце концов заполнит ее всю, а затем взметнется к потолку кровавым плевком. Но взрыва не произошло. Под выбитой пробкой оказался безобидный сидр. Она засмеялась. Да, засмеялась. Она смеялась от свершившегося абсурда, от дерзости муравья, от нелепости мизансцены, от собственного бессилия. Еще одна апория, черепаха, затеявшая скачки с Ахиллом. И победившая благодаря безукоризненной логической неувязке.

* * *

Страшное не может быть настоящим. Это такая шутка, игра... Чтобы напугать или наказать. Надо закрыть глаза, и сразу все кончится. В каждом из нас, вопреки рассудку и опыту, живет эта надежда. Самая безумная и несбыточная, единственная, что удерживает нас от отчаяния.

Действует лекарство, и мне удастся уснуть. Как ребенок, прячусь под одеяло. Неизбывная детская надежда – вот сейчас откину душный уголок, и мир станет другим, призраки исчезнут.

Я засыпаю с этой надеждой. У меня есть повод. Закатившееся в щель зернышко. С именем Анастаси что-то связано. Я помнил об этом, когда смотрел на нее. Это зернышко разбухает и прорастает сквозь сон. Это было совсем недавно... По ту сторону мрака. Ну конечно! Герцогиня обещала послать Анастаси за моей дочерью. Анастаси – это гонец, вестник, путеводная нить. Когда я открою глаза, Анастаси будет ждать меня с хорошими новостями. Она обязательно будет ждать. Когда я проснусь, все будет по-другому.

К счастью, я не вижу снов. Я знаю, что они есть. Там происходит движение, тени идут гуськом, одна за другой, но я их не различаю. Сон – будто тяжелая повязка на глазах. Надо стянуть и взглянуть, что же там, по другую сторону... Но за повязкой уже не сон, а день. Солнце расположилось в прямоугольнике на полу. Полдень миновал. Где же Анастаси? Откинув полог, ищу глазами. Никого нет. Любен, вероятно, за дверью. Как услышит шум, сразу войдет. Анастаси тоже там? Ждет? Не хочет будить? Я откидываю одеяло и встаю. Делаю несколько шагов к двери. Даже задеваю что-то мимоходом, намеренно, с шумом. И Любен действительно входит. В руках у него аккуратный сверток из кружев и атласа. Одежда, но другая. Более яркая и роскошная. Уже награда? Серебряный галун вдоль шва, пуговицы – нежный перламутр в блестящей обертке. Под свертком у него в руках башмаки. Кожа прошита золотом, точеный красный каблук.

– Что это, Любен?

Кажется, я впервые заговорил с ним.

– Ваша одежда, – почтительно отвечает он. – Не желаете примерить?

– А где вчерашняя?

– Та чужая, а эта по вашей фигуре.

Он раскладывает мой новый наряд почти благоговейно, разглаживает складки, расправляет кружева. Мне не по себе от этой его почтительности. Он замечает, что я бос, и тут же подвигает мне башмаки.

– Примерьте, сударь, эти должны быть впору.

Я не хочу их мерить. Не хочу. Да, я знаю, уверен, они мне впору, не малы и не велики. И кожа мягкая, испанская, выдержанная в меду, и пряжка в драгоценных стразах. Это плата за мое тело... За мое предательство. Хозяйка благосклонна к своему рабу. Он доставил ей удовольствие. Заслужил. Боже милостивый... Но где же Анастаси?

– Любен, – осторожно говорю я, – а кроме одежды вы ничего не должны мне передать?

Парень в недоумении. Хмурит лоб, шевелит бровями. Они у него широкие, но такие же бесцветные, как и ресницы. Две широкие полоски на кирпично-красной коже. – Передать? Ну я должен спросить, что бы вы желали на ужин. И к обеду я должен вам что-нибудь подать. Но ужин обговорить особо...

– И... все? – Все, – парень разводит руками.

– А мадам Анастаси? Парень явно удивлен моей разговорчивостью.

– Мадам Анастаси в замке? Не отлучалась?

– Нет, она здесь, с ее высочеством.

Анастаси никуда не отлучалась. Это может значить только одно – герцогиня не сдержала слова. В утешении самому себе я готов вообразить, что она отправила в Париж кого-то другого, не Анастаси, и гонец еще не вернулся. Жалкая попытка. Она и не думала никого отправлять. Зачем? Она исполнила свой каприз.

– Принеси воды, – вдруг говорю я.

Любен удивлен еще больше.

– Желаете пить? Я налью вина.

– Нет, нет, воды, побольше воды, ведро... Пожалуйста, Любен. Воды! Мне нужно умыться.

Я помню ее руки, холодные, гибкие. Ее пальцы... Она трогала мои губы, проталкивала пальцы внутрь, чтобы добраться до языка... У нее кожа, как мокрая бумага. Она исследовала меня, изучала... Я меченый. Весь перепачкан ее слюной и женской влагой. Этот след все еще на теле, он, как ядовитая плесень. Ее язык у меня во рту, и я сам в ней... И тело вновь отзывается желанием и болью... Глухой плотский рокот. Не хочу...

– Воды, Любен, пожалуйста...

– Вам плохо? Позвать Оливье? – он испуганно заглядывает мне в лицо. Я мотаю головой.

– Нет, черт возьми, не надо никого звать. Воды...

Любен бежит к двери. Я сжимаю кулаки, комкаю сорочку. Предатель, прелюбодей. Как быстро ты сдался... Ты смотрел на нее, ты видел ее наготу, ты восхищался ею... Не лги самому себе. Тебе нравилось! У тебя горло перехватывало, так она была хороша... Без стыда, без сомнений, белая, гладкая... Она взяла тебя, и ты блаженно ей подчинился. С трудом вспомнил о дочери. Старался, дергался, наседа... Посмотри, тебя уже одарили за оказанные услуги. Атласный камзол, башмаки... К утру будет еще одна подачка. Шлюха... Грязная, сговорчивая шлюха. Где же Любен с водой? Нужно было попроситься в парк. Там есть пруд, его видно из окна. Дойти до пруда и нырнуть с головой, смыть с себя ее запах, ее пот, избавиться от этой боли...

Любен, тяжело дыша, втаскивает ведро. Наконец-то! Я следую за ним в примыкающую комнату.

Вода холодная. Обжигает. Дыхание сорвалось. Но это к лучшему, да, так хорошо. Сумятица, переполох. Но это желанный ожог.

– Еще, Любен, еще...

На коже блестит вода. Чистые, прозрачные капли. Но под ними все еще грех. Невидимый и жгучий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.